



ОТРОЧЕСТВО

Серия книг  
для  
подростков

Альберт  
Лиханов

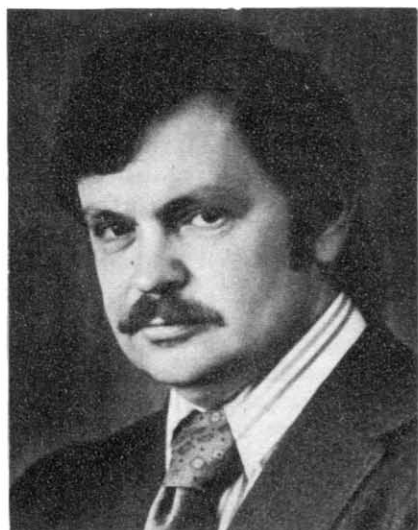
## ОБМАН

*Повесть*

Писатель Альберт Анатольевич Лиханов — лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской и премии Ленинского комсомола — известен читателю по книгам «Мой генерал», «Чистые камушки», «Солнечное затмение», «Музыка», посвященным юношеству.

Его повести переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.





**Альберт  
Лиханов**

**ОБМАН**

*Повесть*

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**ОРАНЖЕВЫЙ  
САМОЛЕТ**

1

Оркестр заиграл туш, духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щеки. Кто-то ткнул Сережку в бок, кто-то шлепнул по плечу — он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мерз, — вскочил, отбросил со лба светлую челку и побежал к сцене.

Сережа бежал вдоль рядов, и на него все смотрели. И от музыки, играющей в честь его, и от аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры он как бы потерял себя, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела. Он словно летел туда, к сцене, и полет этот был бесконечным, медленным, тягучим...

Потом он оказался в слепящем свете рамп. Растерянно топтался на виду у всех. Со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум, в котором о чем-то шептались.

— Главный приз, — наконец сказал конопатый судья, — вручается Сергею Воробьеву, установившему абсолютный рекорд. Его модель самолета с бензиновым моторчиком, подхваченная воздушными потоками

ми, пролетела сто девятнадцать километров! Приз и ценный подарок — именнные часы вручает Герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин.

Аплодисменты загрохотали, как канонада, высокий, толстоносый Доронин протянул Сереже широкую и грубую ладонь, сказал в шуме: «Поздравляю» и начал давать ему одна за одной кучу грамот — за первое место среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и еще, еще какие-то, и с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смехок, а когда Герой положил прямо в блестящий кубок коробочку с часами, потому что руки у Сережи уже были заняты многими наградами, зал захохотал.

Доронин поднял руку, и стало тихо.

Так тихо, что Сережа слышал тоненький звон висюлек в многоярусной, похожей на пирожное люстре.

— Ребята! — сказал летчик. — Это знаменитый самолет! — Он поднял вверх оранжевую модель с перебитым крылом, Сережину победу, абсолютный рекорд. — Его нашли колхозники в лесу за много километров от старта. — Он повернулся к Сереже. — Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Сережину победу. Придет время, и у него и у вас будут победы поважнее. Стремитесь же к ним!

Сережа бежал обратно, и снова грохали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни.

2

Голова немножко кружилась. Слава! Фу-ты, он ее и не ждал.

И не готовился вовсе — она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень.

Впрочем, какая это слава? Случайность! Выигрыш по лотерее! Ведь любую модель могли подхватить эти невидимые, стремительные восходящие потоки, прилепить потом, как марку к открытке, к густому, кудреватому облаку с золотистыми краями! И привет горячий! Не страшно, что кончится горючее, что остановится мотор... В общем, просто выигрыш — слава бывает не такой, слава — это же когда ты сам, сам что-то делаешь... Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут... Крутанули колесо, развернули билетик — вам, гражданин, часы, и кубок, и стопка грамот.

— По-моему, ты уже зазнался, — говорит Галка Васина, Васька попросту, — уже рисуешься!

Она идет в метре от Сережи — он ее всю разглядеть может; черная коса на плече лежит, а когда Васька поворачивается, глаза ее — два черных выстрела.

— Слово самурая! — смеется Сережа. — Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку: при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится.

— А все-таки приклеиваете? — не верит она.

— По правилам так положено! — говорит Сережа.

Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмочивший такой номер, и сам себе не верит.

Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока, делая какой-то маневр, не потерял из виду. Сережа жутко расстроился — ведь он выбыл из соревнований, но

через неделю оранжевую модель привез шофер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовете, и назвал село. Сто девятнадцать километров!

И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывал ее удивленно.

— Вот Доронин! — говорит Сережа восхищенно. — Это да! Человек! Вражеский самолет таранил.

— И все-таки у твоего Доронина, — спорит Васька, — славы меньше, чем у той же Дорониной, у артистки. — Она улыбается. — Ты прямо смешной! Времена другие!

Другие, соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Доронин теперь на кукурузнике летает, на четырехкрылой этажерке. А когда-то немцев таранил! Но с Васькой он спорит:

— Допустим! Все, допустим, относительно! Но тогда нельзя так спорить! Ведь в ответ я скажу, что твою Доронину не сравнить с Гагариным.

— К старости, — Галины глаза рассматривают Сережу, — ты, наверное, станешь жутким сухарем, — она машет ладонью, — и уж, конечно, будешь технарем!

— Буду, — смеется Сережа, — для авиации гуманитарного образования маловато.

Он кивает Ваське и бежит к дому.

## 3

Сережа вшагивает в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка:

— Труу-ру-ру-ру-ру-ру! Ру-ру-ру-ру! Труу-руу-у-у-у!

Мама трубит в свернутый журнал. Олег Андреевич играет на расческе, тетя Нина стучит ложками по блюду.

Сережу слепит крахмальная ска-

терть, золотистая пробка на толстой бутылке.

— Итак, — говорит Олег Андреевич, — торжественный банкет считаю открытым!

Он в милицейском мундире, на погонах — майорские звезды.

Сережа кладет на пол свою замечательную модель, гости разглядывают грамоты, часы, кубок.

— За удачу, — говорит Олег Андреевич. — За чемпиона!

Пробка жахает в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка.

Сереже наливают тоже — самую капельку на дне, Сережа смакует сладкую шипящую водицу, похожую на компот, крутит завод у первых своих часов, надевает на руку, сверяет время у Олега Андреевича, радио включает — пора.

Все никак не может наудивляться Сережа этим чудесам.

Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, улыбается, папироску размягчает, в пальцах вертит — и в эту же минуту по радио говорит. Про колхозы, как там хлеб сеют и кто впереди; про заводы, какие у кого дела; или рассказ какой-нибудь, под музыку.

Сереже больше всего нравятся рассказы или стихи. Их мама читает как-то особенно. Неторопливо, плавно так. Словно артистка.

Лично он, Сережа, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Артистка только на сцене выступает, а мама — по радио. Но чем диктор хуже артистки? Ничем. Вон летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. Подзарабатывают, мама говорит. Так у них в сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят и уж так декламируют, будто из самодеятельности только что выскочили. И голоса-то скрипучие, угловатые, немягкие какие-то.

То ли дело у мамы. Вот разговаривают они тут, дома, с тетей Ниной, и голос у нее хриловатый, даже — грубый. А по радио — совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит — контрастно.

Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит. Что она — настоящий талант. Что ничем она не хуже московских дикторов. Что, живи бы мама в Москве, она бы там давно заслуженной артисткой стала. Дают же дикторам такие звания.

Мама на тетю Нину машет рукой.

— С такой-то харей! — говорит.

Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Сережей одна остается, совсем другие слова выбирает. Добрые и ласковые.

— При чем тут лицо! — возмущается тетя Нина. — Знаешь поговорку: по одежке встречают, по уму провожают!

— Какой у меня ум! — не соглашается мама.

— У тебя поважней красоты и ума. У тебя талантливый голос. Такое на дороге не валяется.

Сережа вскакивает, тянется к динамику, вкручивает его на полную громкость. Мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза: он тетю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама.

Он улыбается гостям и говорит:

— Давайте послушаем, мама читает.

Сережа ждет, что мама скажет что-нибудь грубо, как-нибудь нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво ухмыляется. А по радио говорит про колхозников, про то, как они убирают картошку. Из-за мамино го голоса выплывает музыка. Сначала гармошка играет тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щелкает. Улы-

баясь, Сережа смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму. Но они молчат.

— А ты говоришь — талант! — смеется мама. — Все мы тут таланты. — И вдруг взрывается, вскакивает даже. — Да разве можно эту мазню талантливо прочитать? Что там сделаешь! Ну ответь, ты же понимаешь!

Мама кричит на тетю Нину, словно в чем-то ее обвиняет, а Сережа растерянно хлопает глазами — ведь он хотел. как лучше.

— Но, Аня, — рассудительно отвечает тетя Нина, — ты знаешь лучше меня: талантливую вещь прочесть талантливому диктору легко — разве не правда? И ведь куда сложнее талантливо прочесть бездарную писанину! Халтуру какую-нибудь! Обязаловку!

4

Мама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит:

— Ладно, выпьем!

Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу:

— Можно я тост скажу?

— Можно! — смеется Олег Андреевич.

— Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, — говорит мама, — но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то, одни...

Она молчит минутку, Сережа смотрит на маму с удивлением и улыбкой: что она скажет, интересно? Про себя? Про талант? Про тетю Нину?

— Ну так вот, — говорит мама, глядя на тетю Нину. — Выпить нам надо с тобой не за талант, не за красоту, не за ум. А за бабье счастье,

понимаешь? За тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть. И за меня, потому что у меня его нет... Но будет!

Сережа понимает, что мама немного опьянела, он принимается пристально глядеть на нее — чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась... Мама всегда его понимала, без слов. Но теперь она не замечает Сережу.

— Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей.

В глазах у мамы блестят слезы, Сережа не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи.

Мама вздрагивает, смахивает слезы, берет Сережу за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза.

— Открою я тебе секрет, Сергунька, — говорит мама и просит вдруг: — Пойми, если сможешь.

— Ну что ты, мам, что ты, — бунчит Сережа, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может. — Не говорила долго, боялась сказать, да и еще не сказала, может быть, но вот Нина здесь, Олег Андреевич, не так страшно... — И вдруг словно ударила: — Замуж я выйду скоро, Сергунька.

— За кого? — спрашивает он машинально.

— За Никодима, — говорит мама и поправляется: — За Никодима Михайловича. Приезжает он.

— Закончил курсы? — спрашивает тетя Нина.

— Закончил, — говорит мама. — На днях приезжает.

Будто торопясь, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свою.

— Ну, так за вас, Анна Петровна, — говорит он.

— За тебя, Аннушка, — тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плачут.

Скрипит дверь, в щель сперва

вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалия, а затем появляется весь Котька, тети Нинин сын.

— Папа, — говорит он Олегу Андреевичу без всяких предисловий, — а кораблям очень опасно северное море, там снайперы.

— Что, что? — смеется Олег Андреевич.

— Такие ледяные горы.

— Айсберги?

— Ну да, снайберги.

Все смеются.

Сережа улыбается тоже.

Потом берет чайник и выходит на кухню.

Из кухни дверь ведет на улицу.

На двери с тугой пружиной висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сережа знает его на память:

«Прозьба ко всем гражданам когда ходите двери задерживайте не хлопайте а то у меня голова разламывается и мозги вылетят».

Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, и в такт шагам повторяет про себя объявление — со всеми ошибками:

«Прозь-ба ко всем граж-да-нам... а то у ме-ня го-ло-ва раз-ла-мы-ва-ет-ся... моз-ги вы-ле-тят».

Слова тупыми ударами отдаются в висках...

Когда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя принесут.

Неподалеку от дома гастроном, а во дворе его высятся штабеля фанерных ящиков. Сережа приходил сюда однажды, искал материал для моделей: планки от ящиков очень ему подходили.

Ящики поставлены друг на друга в высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый

не проберется, а мальчишка пройдет.

Серезка протискивается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается на узенький край ящика.

Откидывает голову, вверх смотрит.

Над щелью среди ящиков небо виднеется. Густая синева. По нему облака тянутся — легкие, как дымок. Перистые. По географии проходили.

Сереза глядит на небо, думает про облака. Но размышляет про облака будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сереза, но другой Сереза. Настоящий же молчит. Настоящий словно замер и ни о чем думать не хочет, хотя думать надо, надо.

Один Сереза вверх глядит, в щель среди ящиков, на небо. Другой Сереза в землю взглядом уперся, и все в нем болит. Все частички его.

Никодим! Зря поправилась мама, не Никодим Михайлович он, Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Сереза так и зовет — по имени только. Про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовешь.

Может быть, зря Сереза к нему так относится. Может быть, он вовсе не плохой человек — Сереза его один раз только видел, разве скажешь что-нибудь серьезное о человеке с первого взгляда, да еще о взрослом. И может, неплохо отнесся бы к нему Сереза, если бы не мама.

Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и с Серезей познакомился, его фотокарточку в уголок зеркала вставила.

Тогда Сереза все понял. Тогда он сказал маме:

— Зачем нам этот Никодим?

Мама поглядела на Серезу виновато, подошла к нему, взяла за плечи,

взглянула в глаза и ответила, как взрослому:

— Должен же у тебя быть отец!

— Ты что! — крикнул тогда Сереза оторопело. — С ума сошла! У меня есть отец!

Отец! Вот был бы он жив!

Отец Серезе часто снится. То в гермошлеме и высотном летчицком костюме с гофрированными рукавами, похожий на космонавта, — картинку, где нарисованы такие летчики, Сереза из «Огонька» вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом, в белой рубашке, улыбается во весь рот, как Чкалов. Такой портрет тоже над кроватью у Серези есть. А то будто Юрий Гагарин — люди его на руках подбрасывают, и отец в летчицком кителе с майорскими погонами, фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала.

Отец улыбается, что-то говорит беззвучно или просто молчит, и Сереза заметил, если отец приснился, значит, ему повезет. В школе или в кружке. Или просто будет хорошее настроение.

Одно только странно — отец ему всегда разный снится. С разными лицами. Но и к этому Сереза привык. Он просто знает: если снится летчик, значит, это отец. И не важно, какое у него лицо. Это объясняется просто. Сереза своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Сереза еще не родился.

Он был летчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда. В поселке даже. Поселок был от авиазавода. И отец обкатывал военные истребители.

Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощанье, помахал ей рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах летит отец. В тот день летали три самолета. Они были

похожи на треугольники с маленькими хвостами. Летающая геометрия. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел. И упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным. Кровавым.

Она уехала, в чем была, не собрав даже чемодана, — села на станции в проходящий поезд. После поезда мама ехала на лошадях, в бабушкину деревню, и едва добралась до порога, как родился он, Сережа.

Сережа родился раньше срока на целых два месяца, он должен был умереть вслед за отцом. Но мама и бабушка спасли его.

Сережу всегда смешил этот мамин рассказ. Как они спасали его. Забавно очень спасали. В русской печке. Подтапливали ее слегка и клали Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца.

А отца он не видел. И отец не видел его. Сережина жизнь началась после того, как кончилась жизнь отца.

Вот почему снился ему отец с разными лицами...

Сережа смотрит вверх. Он не раз замечал: солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным сиянием. Небо и облака темнеют позорде земли.

Земля загордила собой солнце, но не навсегда.

Завтра придет утро, и снова станет светло.

Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер.

Он берет чайник и встает.

Надо идти. Домой, к маме. Он представил, как мама бежит по улице, спрашивая знакомых мальчишек, не видели ли они Сережу, и по спине между лопаток заструился хо-

лодок. Он представил себе ее курносое, почти безбровое лицо, будто выгоревшее на солнце, — представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любила его мама. И как любил ее он. Вот без отца он живет — это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя. Без мамы он жить не мог бы!

Сережа бросается назад, по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков и вдруг ощущает боль. Острый гвоздик, торчащий из ящика, рассек кожу на запястье, и боль вернула его к настоящему.

Никодим!

Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком.

## 6

Мама дома, моет посуду в тазу, наклонив слегка голову и прищурив один глаз, чтоб не щипал дым от папироски.

Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно произносит:

— Я думала, ты поймешь...

Сережа не отвечает.

Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, лижет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима.

Бывают же такие лица — сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад. Уши торчком — два лопуха. И чего только мама нашла в нем!

Сережа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезки на своей стене.

Летчики в высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Все вместе — для Сережи отец.

Обида распирает грудь. «Как же так? — думает он. — Всю жизнь мама



говорила про отца, всю жизнь повторяет, как он погиб, и Сережа эту картину представляет теперь словно живую, словно это он там был, — и вдруг Никодим! Эх, мама!»

Сережа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда влияла! Это же из-за нее он картинки эти на стену наклеил и твердо решил летчиком стать. Как отец. И в авиамодельный кружок тоже из-за мамы записался. Вот освоит он сперва там все премудрости, потом в школу планеристов пойдет, без отрыва от учебы, конечно, а там и на летчика выучится. После — в летное училище поступит. Или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДОСААФ, а конструирование его очень увлекает.

Сидишь в кружке — тишина. Бамбуковую основу над спиртовкой гнешь или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казеинового клея совсем особенный, на другие не похожий: этот клей авиацией пахнет.

Сережа поглядывает на оранжевый самолет, который лежит на полу — изуродованный, но героический, усмехается, говорит ему про себя: «Ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал». А сам думает про новую модель, тоже с бензинкой, но другой конструкции — посложней. Он решил его с Робертом сделать — старостой кружка: одному будет трудно.

Хлопает дверь.

— Не спишь? — спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку.

Он подвигается, не отвечая. Мама тоже молчит. Смотрит на Сережу, о чем-то думает про себя сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять.

Сережа разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке, обшарпанный

шкаф, который протяжно скрипит, когда его открываешь, стол возле стенки — одна ножка хромает, бумагу под нее скручивают, когда редкие гости приходят. А без гостей и так хорошо.

Бабушка, когда приезжала, вращала на маму:

— У тебя все не как у людей!

— А как у людей? — поддразнивала ее мама.

— Чистота, порядок, уют! — шумела бабушка — Квартиры получают, обстановку покупают. Ну да ладно, квартиры нет, так хоть бы эту-то комнатуху подкрасила, побелила. Живешь, как по течению плывешь, — бабушка махала рукой, уходила в кухню.

— Это точно, — кивала мама, — как по течению...

Потом, после бабушкиного отъезда, бралась за тряпку, за веник, мыла, скребла, прибирала, приносила даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть с длинной ручкой, но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям.

— Ты что, мам? — удивлялся Сережа. — Раздумала?

— Плевать на все, — говорила она, улыбаясь. — До потолка боюсь не дотянуться.

— Так давай маляров позovem! — удивлялся Сережа. — Тоже нашла причину.

— Позovem, позovem, — говорила мама. Но так никого и не звала.

Потолок в комнате был серый от папиросной копоти, и все оставалось по-прежнему у них: хоть и неудобно, но привычно...

Мама трогает тихонько струны, поет негромко:

Гори, гори, моя звезда...

Голос у нее глуховатый, но силь-

ный. «Профессиональный», — говорит тетя Нина.

Звезда любви приветная...

Больше всего любит Сережа, когда мама поет. Не в компании — шумно и весело, а вот так, тихо, как для себя. А значит, и для него, Сережи...

Ты у меня одна заветная,  
Другой не будет никогда.

Мама кладет руку на струны, спрашивает улыбаясь:

— А ты знаешь, кто эта звезда заветная?

Сережа мотает головой.

— Ты. — Он смеется. — Ты, ты, не смейся. Каждый, кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю.

— Почему не про папу?

Мама удивленно глядит на него, смущается отчего-то, потом твердо повторяет:

— Нет, про тебя.

— Ну а я тогда про тебя, — говорит Сережа. — Ты тоже моя звезда заветная. — Он садится в раскладушке.

— Ладно, ладно, — грустно говорит она, — пока заветная, и то хорошо. А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспоминай.

— Эх ты! — возмущается Сережа, отстраняясь. — Так про меня подумала! Я же твой сын, как я про тебя забуду? — Он умолкает, вспомнив Никодима, и прибавляет обиженно: — Не то что ты!

Мама резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик. Не поворачиваясь к Сереже, чиркает спичкой, сильно затягивается, говорит:

— Не беспокойся, я уже решила. Будет все, как было. И Никодим тут ни при чем.

Сережа приподнимается на раскладушке, молчит от растерянности,

потом спрашивает жалобно, надеясь и не веря:

— Правда, мама?

Она оборачивается к Сереже, комкает пальцами папироску, подходит к зеркалу.

Сережа притихает. Мама смотрит не в зеркало, а на Никодима.

Потом берет карточку в руки, трогает ее, словно гладит Никодима, и вдруг рвет в мелкие клочки.

У Сережи перехватывает дыхание.

— Зачем? — удивляется он, приподнявшись на локте. Теперь-то Никодим не страшен ему. Нисколечко. И может еще сто лет сидеть там, в углу зеркала.

— Да что уж тут, — отвечает мама, подходит к выключателю и щелкает им.

Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В смутной летней ночи он видит ее лицо, и ему кажется, что она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает, и тогда Сережа решает, что это, верно, от усталости и от вина ее так скосило.

7

Та-та-та-та...

Та-та-та-та...

Сереже снится война. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трассирующие пули идут впереди самолета широким белым веером, вспарывают землю вниз, Сережа летит на бреющем, одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круто взмывает вверх. Сережа видит, как оттуда, из-под облака с золотой каймой, падает на него черный крест — вражеский самолет.

Он нажимает гашетку.

Та-та-та-та...

Но трассирующий веер не рас-  
спяется впереди него.

Та-та-та-та...

Значит, кончились патроны. Кто  
же тогда стреляет? Черный крест?  
Черный крест...

Сереза видит, как смертельный  
веер тянется к нему, словно белые  
длинные пальцы. К его заметному  
оранжевому самолету.

Сереза вскакивает. Ощущает,  
как капельки пота ползут по лбу.  
Фу, душно в комнате.

Он вздрагивает.

Та-та-та-та...

Черный крест опять строчит. Хо-  
тя нет, это стук. Кто-то стучится  
в дверь. На улице уже светает.

— Мама, — шепчет Сереза, —  
мама!

Она поднимает голову, говорит  
испуганно:

— Что случилось?

— Стучат.

— А-а, — говорит мама, позевы-  
вая и сразу успокаиваясь. — Ну  
открой.

После душного сна Сереза при-  
ходит в себя. Никакого креста нет,  
слава богу. Все нормально. Дом, ма-  
ма. Он вздыхает, идет к двери...

Та-та-та-та...

— Сейчас, сейчас, — ворчит он,  
вовсе успокаиваясь, сбрасывает  
цепочку, вертит кругляш английско-  
го замка, распахивает дверь и отсту-  
пает назад.

Сердце у него обрывается. Будто  
он снова уснул. Будто продолжает-  
ся страшное видение, только теперь  
другое. Вторая серия.

В дверном проеме стоит Никодим.

Он улыбается, глядит приветливо  
на Серезу, потом шагает вперед,  
молча протягивает ему руку, и Се-  
режа, как загипнотизированный,  
даст свою.

Сначала, пока никого не видно  
из-за отворенной двери, мама удив-  
ленно моргает глазами, но когда

Никодим входит в комнату, она  
вскакивает, прикрывая себя одеялом,  
потом, отвернувшись, натягивает  
халат, поворачивается и смотрит на  
Никодима — растерянная и взлохма-  
ченная.

А Никодим, ничего не замечая,  
подходит к столу, грохает на него  
тяжелую авоську, рядом приставляет  
фибровый чемодан.

— Не ждали! — говорит он, усме-  
хаясь. — Помните, картина такая  
есть. Кто-то из передвижников, ка-  
жется. Так и называется: «Не жда-  
ли».

Сереза помнит. В какой-то кни-  
ге видел. Комната большая, не та-  
кая, как у них, и все в ней замер-  
ли, потому что на пороге стоит  
человек, коротко стриженный,  
усталый. Вернулся, наверное, из  
тюрьмы. Или с каторги. Революцио-  
нер.

Там понятно, там революционер.  
А Никодим тут при чем? Ну да, не  
ждали... Вообще не ждали, правиль-  
но. Хотя почему же. Ждали. Даже  
приготовились.

Сереза видит, как трудно маме.  
Он вглядывается в ее лицо, и она  
чувствует его взгляд. Но не может  
решиться. Не может шагнуть к Ни-  
кодиму и сказать ему сразу. Она  
оборачивается к зеркалу, торопли-  
во причесывается, а Сереза стоит  
один на один с Никодимом.

Гость развязывает авоську. Ста-  
рательно развязывает.

— Аня, — говорит он, не отры-  
ваясь от авоськи, — вы извините,  
что я так рано... Хотел было другим  
поездом, но не утерпел, взял билет  
на самый первый, приехал ночью,  
еле утра дождался — и бегом к вам...  
Так что извините, разбудил все же.

— Ничего, — глухо отзывается  
мама, не отворачиваясь от зеркала.

— Хотел попозже прийти, —  
говорит Никодим, — но, думаю,  
Серезу надо застать, пока в школу

не ушел, может, думаю, порадую... — он зубами развязывает свой проклятый узел, но говорить не перестает. — Аня, — мычит, — а ты Сереже-то, м-м, черт, вот замотал... Ты Сереже-то все сказала?.. Ничего... Надо же... Ничего не скрыла?

Мама молчит.

— Ну вот, — балабонит Никодим, — размотал все же. — Он хрустит бумагой, разворачивает сверток, оборачивается к Сереже, протягивает ему сперва ласты, потом трубку для ныряния, потом маску.

Сережа растерянно топчется на холодном полу, держит охалку подарков и чувствует себя одураченным. Не знает, как быть. С Никодимом он разделался еще вчера. Вечером, когда мама порвала его карточку. И вот он пришел. И дарит подарки. И заговаривает зубы. А мама причесывается у зеркала и молчит. И будто ничего не видит.

Не видит! Все она видит! Только трусит.

Сережа решает. Он больше не даст себя одурачить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Ласты вон какие зеленые, прекрасные, лягушачьи! И трубка! И маска! Но разве можно на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый. Он на красивые приманки не клюнет.

Сережа шагает вперед, складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом:

— Спасибо, мне не надо. — И добавляет невпопад: — Мне в школу надо.

Никодим останавливается, смотрит внимательно на Сережу, но Сережа торопливо одевается и не глядит по сторонам. Только чувствует на себе тяжелый этот взгляд.

Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму:

— Что же, Аня, получается, а?.. Или ты передумала?

— Передумала, — отвечает мама, все причесываясь.

— Да повернись ты! — вдруг командует Никодим, Сережа возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел, не командовал, но видит, как покорно поворачивается от зеркала мама, как смотрит она на Никодима испуганными, округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет: мама слушается Никодима! Значит!..

— Извини, Никодим! — говорит мама и что-то тербит в руках. Сережа видит, что она перебирает обрывки фотографии. Той, вчерашней. — Извини! — повторяет она. — Я не все учла... И я передумала.

— Но как же так? — разводит руками Никодим. — Мы же переписывались! Два года!.. Мы договорились!.. Я приезжал!..

Он восклицает, лицо его покраснело от натуги, уши топориком тоже порозовели, и Сереже становится жаль его.

Но жалость тут же исчезает.

Никодим говорит маме:

— И вообще, Аня! Ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе. В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери!

Сережа хлопает глазами. Он думает, мама сейчас взорвется. Прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, нисколько не обижаясь:

— Да, да, Никодим, ты прав, все так и есть, но я не могу... Решила.

Никодим оборачивается к Сереже, подхватывает свой чемодан и шагает к двери.

Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Сережу. С интересом разглядывает, и Сережа замечает, что губы у Никодима вздрагивают, как от сильной обиды.

— А это? — говорит ему Сережа, показывая на подарки, но Никодим

не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Сережу и сишло произносит:

— За что ты меня ненавидишь?

Сережа чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. Почему он так говорит? Разве Сережа его ненавидит? Совсем нет... Совсем нет... Он не ненавидит его...

Сережа вскакивает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чужому человеку, но вместо слов из него вырывается странный хрип.

Дверь захлопывается.

Никодима шаги грохочут по кухне. Взрывается дверь на сильной пружине, и у соседки, наверное, вылетают мозги.

Все стихает.

А Сережа стоит, открыв рот, захлебываясь от подкатившей к горлу обиды.

8

Май, а на улице дождь, нудный, будто осенью. Тучи над самыми крышами носятся рваные, клочковатые, злые. Тягостно на душе. И от погоды, и от утреннего разговора.

Сережа смотрит за окно, в плотный дождь, который ступшеывает силуэты домов, и будто перед Никодимом оправдывается.

Что же, в самом деле он Никодима ненавидит?

Ну ненавидит, допустим. От обратного пойдем. Как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к ним прийти хочет?

Сережа раздумывает. Вспоминает маму.

Он тогда сразу за Никодимом выскочил. Схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза широко открыты. В пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно...

Сережа судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь в действительность. Класс. Зеленые стены. Учительница возле доски ходит. Вероника Макаровна, по прозвищу Литература.

Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках ходит. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается. Как на коньках, если плохо катаешься. Чулки при высоких каблуках Литература носит простые, ученические, в резинку, но они всегда перекручены.

— Ну, кто ответит? — спрашивает Вероника Макаровна и подслеповато щурится: она близорукая, так что тем, кто на задних партах, может повезти — издалека лиц не разглядит, а фамилию — кто там сидит — не сразу вспомнит. И вообще она странная. Вот и теперь остановилась у окна и словно забылась. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь ерошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может долго за окно глядеть. Минут пять. А то и больше. Наконец она оборачивается.

— Ну, кто ответит? — повторяет Вероника Макаровна. Сережа видит, как Понтя, сосед его, руку тянет.

Вероника Макаровна смотрит на Понтю, потом в журнал ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет:

— Пантелеймон Карпов.

Имя, конечно, у Понти забавное. Пантелеймон! Да сейчас таких имен никому и не дают. Но Понтя как раз этим гордится. Его так в честь деда назвали. А дед у Понти — Герой Советского Союза. Генерал в отставке. Деда у Понти никто не видел, он в Москве живет, но карточку Карп приносил. Очень он на генерала своего похож.

— Отвечай! — говорит Понте Вероника Макаровна.

— В повести Пушкина — «Капитанская дочка», — говорит Сережин сосед, — есть два типичных представителя своих обществ.

— Гринев — от «Динамо», Пугачев — от ЦСКА, — ворчит кто-то в классе, по партам прокатывается смехок.

Вероника Макаровна стучит ручкой по столу.

— Гринев — представитель дворянского общества, — декламирует Пантелеймон, — и, хотя он является врагом крестьян; он вынужден обратиться к Пугачеву за помощью по личным вопросам.

— Выбирай выражения, — говорит Литература, — думай, как говорить.

— Да я в том смысле, — горячо объясняет Понтя, — что ведь ему же никто, кроме Пугачева, не помог. Пугачев был добрый человек. Пугачев возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Пушкин подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация.

— Когда назрела революционная ситуация? — спрашивает Вероника Макаровна.

— Седьмого ноября семнадцатого года, — отвечает ей кто-то с места.

— В начале, — поправляет она, — семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в «Капитанской дочке»?

— В восемнадцатом веке, — отвечает Понтя.

— Вот именно! — подтверждает Литература, поднимаясь со стула и давая Понте сигнал садиться. — События, описываемые в «Капитанской дочке», — говорит она, — относятся к тысяча семьсот семьдесят четвертому году и отражают события восстания крестьян под пред-

водительством Емельяна Пугачева...

Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сережа думает о Марии Ивановне, из-за которой и случились у Гринева все эти происшествия с Пугачевым, вспоминает сцену перед сражением: как стискивал Гринев рукоять шпаги, как горело его сердце, как вообразил он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защитить ее от врага.

Сережа растерянно оглядывает класс и видит Галину косу. «Вот с кем надо поговорить», — думает он и принимается внимательно смотреть на Галю. Она беспокойно начинает шевелиться, потом поворачивается, глядит вопросительно на него.

— Воробьев! — слышит он голос Литературы и поднимается, мучительно думая, что же спросила сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему: — Ты чего такой рассеянный?

Сережа пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу.

— Бывает, — говорит он виновато.

И Вероника Макаровна неожиданно кивает:

— Бывает.

В глазах ее Сережа видит растерянность.

9

Дождь встал глухой белой стеной — в двух шагах, словно лес, скрывает человека. Девчонки и ребята бросаются с крыльца как в омут и тут же пропадают. Краешком глаза Сережа следит за Васькой и мчит за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногую девчонку догнать просто. Сережа хочет уже позвать ее, крикнуть, чтобы подождала, но неожиданно Галя ныряет в чужой подъезд, Сережа заскакивает следом.

— Тебе чего? — настороженно спрашивает запыхавшаяся Галя.

Он переступает с ноги на ногу, мнется, не знает, как начать, как вообще надо спросить про то, что нужно.

— Галь! — заикаясь, говорит Сережа и повторяет: — Галь! — Наконец бухает: — А у меня мама жениться хочет.

— Замуж выйти, а не жениться, — поправляет его Васька. И переспрашивает: — Хочет?

Васька смотрит на него внимательно, приблизив к Сережиному лицу свое лицо.

— Не знаю, что делать, — вздыхает Сережа.

— Он нехороший? — пьяница?

— Нет, — растерянно отвечает Сережа. — Не пьяница. — Потом, разозлясь, объясняет: — На фиг он мне нужен: у меня отец есть.

Васька задумывается, отворачивается к дождю. Говорит неуверенно.

— Но ведь замуж не ты выходишь... Мама...

— А зачем ей замуж? — удивляется Сережа. Никак он не может этого в толк взять: действительно, зачем? Разве плохо жили они до сих пор? Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это неясно — придет третий, лишний, и никогда уж не будет Сереже так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему, про отметки рассказывать прикажете? Про авиамодельный кружок? Про то, что Сережа хочет на отца походить и будет, как он, летчиком?

— Ты странный человек, — говорит Галя, строго глядя на Сережу. — Зачем маме замуж? Для счастья. Разве не ясно? Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слышал? Она еще не старая. У нее еще должен быть муж. Защита и опора.

— Рассуждаешь как старуха, —

недовольно бурчит Сережа, но что-то словно успокаивает его. — Защита и опора, — хмыкает он. — А я?

Галя улыбается.

— Ты, конечно, защита, — говорит она, — но не опора. Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой.

— Высоковольтной? — смеется Сережа.

На душе у него полегчало, будто и в самом деле Галя — старая старуха, которая все объясняет и успокаивает. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Сережиного дома. От Васькиного еще ближе. Но он вдруг предлагает:

— Идем в кино!

В конце квартала — «Колизей». Сквозь дождевую дымку горят огни не вовремя сверкающей рекламы.

Васька кивает, и они мчатся. Бежать с Васькой приятно, Сережа сдерживает себя, чтобы не обгонять ее, чтобы она бежала чуток впереди, самую малость. Лужи хлопают под ботинками, расплескивая в сторону брызги. У Сережи есть рубль — им хватает на билеты и на кофе. И даже на два песочника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Васькины слова. И чем больше думает над их смыслом, тем ему хуже. Действительно. Замуж хочет мама, а решает он. Как глупо.

— И потом, — вдруг говорит Васька, — отца не вернешь, ведь правда? Что же делать?

Гаснет свет, на экране мельтешат кадры.

Сережа смотрит кино, но в голове его совсем другое.

Как все запутано, в самом деле... Как все горько.

Мама часто говорит: «В жизни все бывает не так, как в кино. Я сама убедилась». Когда говорят другие, этих слов не слышно. Пропускаешь

мимо ушей. Но когда касается са-  
мого...

Сережа смотрит на Ваську, на  
грустную ее косичку, и она, не пово-  
рачиваясь, стучает его по руке:

— Смотри на экран.

— Смотрю,— покорно отвечает  
Сережа.

10

Дождь прошел.

Сережа стоит перед высоким се-  
рым зданием. Вверху, под крышей,  
блестят шагающие серебряные бук-  
вы: «Почта — телеграф». И часы в  
полстены.

Все в городе знают, где почтамт,  
но очень немногим известно, что  
здесь — без всяких вывесок — и вход  
со двора — на верхнем этаже нахо-  
дится радиостудия — важный объ-  
ект. Государственный. И его охра-  
няют.

Сережа гордится: мама его как  
бы на важном заводе работает. Туда  
только по пропускам вход. Поэтому  
Сережа к вахтеру подходит, просит:

— Позовите, пожалуйста, Во-  
робьеву.

— Анну Петровну? — спрашива-  
ет женщина с пистолетом. Сережа  
ей улыбается. Это тетя Дуся. Она  
на вахте, чтобы не скучно, любит  
вязать.

Сережа ждет маму, прогуливает-  
ся вдоль здания и вдруг замечает,  
что возле лужи на корточках сидит  
тети Нинин Котька.

Сережа к нему подходит, говорит:

— Здорово, Котька.

— Сергуня наш привет,— отвеча-  
ет важно Котька. Ничуть не удив-  
ляется его появлению.

— Сергуня,— спрашивает он без  
перехода, морща маленький, кнопоч-  
кой нос, будто только и ждал, когда  
Сережа придет,— а тебе страшно?

— Чего страшно?— не понимает  
Сережа.

— Посмотри в лужу,— говорит

Котька.— Видишь, какая глубина.  
Видишь, вон то большое дерево в  
этой луже уместается.

Сережа смотрит в лужу. Вот ка-  
кой глазастый этот маленький Коть-  
ка. Действительно, если взглядеться в  
лужу — глубина страшная. И дере-  
во в ней, и кусочек почтамта, и даже  
тучи. Сережа закрывает глаза. От-  
крывает их снова.

— Нет, не страшно!— отвечает  
Котьке.

— Это сейчас не страшно,— гово-  
рит Котька,— потому что ты боль-  
шой. А когда ты маленький был,  
тебе тоже было страшно.

Сережа берет Котьку за ляжку  
коротких его штанов, поворачивает  
к себе. Котька доверчиво обнимает  
Сережу за шею, щекочет его за ухом.  
Сереже не хочется его огорчать.

— Страшно!— говорит он.— Еще  
как страшно. Мне и сейчас страшно  
бывает.

— А чего ты боишься?— спраши-  
вает Котька, но ответить не дает.  
Лоб его сморщен. Он все время что-  
то соображает.— Я, например, боюсь  
тигров, леопардов и змей. Змеи ши-  
пят. Но я их не видел. Только в кино.

— А леопардов и тигров?— сме-  
ется Сережа.

— Тоже в кино,— ничуть не  
смущается Котька.

В Котьке накопилось много мыс-  
лей, ему их надо обсудить, и он  
без передыху говорит Сереже:

— Хочешь, научу, как надо сорок  
ловить? Берешь бумажку от шоко-  
ладной медальки, привязываешь к  
ней длинную нитку, бросаешь ме-  
дальку под дерево, где сорока сидит,  
и начинаешь к себе тянуть. Сорока  
бумажку увидит, подлетит, а ты ве-  
рочку к себе тяни. Она подойдет,  
ты снова — к себе. Вот сорока за  
блестинкой совсем близко подойдет,  
тут ты и ловишь.

Котька облегченно вздыхает. Он,  
наверное, боялся, что не успеет рас-



сказать все подробности и Сережа уйдет. Но Сережа не ушел, и теперь можно вздохнуть и даже вытереть под носом.

— Котька,— спрашивает Сережа.— А ты тут с кем?

Но Котька не успевает ответить.

— Сережа!— кричит от проходной тетя Нина.— Иди сюда! Я тебя проведу!

Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. На специальном табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»

Тетя Нина вводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Сереже так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.

Вот интересно! Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага... В фотографии свет записывает твоё лицо, это ясно. Происходят химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то послонней изображения! Записывает звук!

Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на большое окно в стене.

За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами — что-то говорит, но что — не слышно. И это выглядит очень забавно.

Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены обиты материей, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штук пять микрофонов. Один, побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с потолка.

Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит — глядит на потолок или

в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.

Мама ведет себя так, будто совсем одна. А на нее глядят человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смутился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она своим занята.

Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.

У главного магнитофона стоит дядька — седой и лохматый. Волосы у него — будто дым из трубы валит, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.

— Молодец, Анька!— кричит он маме, щелкнув чем-то.

И вдруг мамин голос, измененный динамиком, Сережу оглушает.

— Черта с два!— говорит мама грубо.— Переписываем!

— В последний раз,— испуганно кричит взлохмаченный дядька.— А то на тебя не угодишь! Просидишь с тобой до ночи! И передача скоро!

— Не ори!— спокойно советует ему по радио мама.

Сережа думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с маминим голосом несется назад, как курьерский поезд.

Лужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде желтым бисером. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч. Над крышами повис яркий лунный зрачок.

Они идут медленно, мама вдыхает воздух, в котором словно растворилась тополиная листва, и тихо повторяет:

— Как хорошо!.. Хорошо...

Тетя Нина так и не дождалась,

когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить Котьку, и убежала. Сережа стоял в аппаратурной до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сережа все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима.

Просто так сказать: «Я согласен» — глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.

Сережа весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит.

Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина — самая счастливая. Отчего? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отвлечется. С ней ведь все поговорить хотят. Ниночка да Ниночка: всякий, кто мимо нее пройдет, — знакомый, конечно, — непременно остановится. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная. Так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит, обаятельная.

Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грудной.

Она, как и мама, стихи очень любит. Мама ее хвалит за стихи. А тетя Нина маму хвалит.

Мама ее обрывает, говорит:

— Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Они смеются обе. Действительно, что поделывать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия —

дикторы. Только одна — радиодиктор, другая — теледиктор.

Но разница между ними все-таки есть.

Про эту разницу мама лжбит тете Нине рассказывать.

— Возраст — раз. Два — вывеска. — Это мама лицо вывеской называет. — Три — характер. А на трех китах, как известно, держится мир.

Характеры у них действительно разные. Мама курит много. А это не просто привычка. Иногда так закурится, задень ее, она как камень раскаленный. Плесни воды — взорвется.

Да что там говорить... Счастливая — несчастливая. Это же не только от удачи зависит, от выигрыша какого-то. Это ведь не лотерея.

Счастливым человек счастлив потому, что он такой, а не другой. Был бы другим, стал бы несчастливым. Была бы тетя Нина как мама, тоже, наверное, несчастливой оказалась.

Но тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая.

Сережа задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая!

Сережа припоминает утренний разговор. Явление Никодима. И вчерашний.

Вот она какая добрая, мама. Решила, что Сереже с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Сережки.

Выходит, несчастным и от доброты тоже стать можно.

Сереже делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.

— Ну что, Сергуня, — говорит мама, — вот и добрались мы домой?

— Добрались, мама, — отвечает Сережа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово — светлое и прозрачное, — чтобы маме сдела-

лось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, тотчас, почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может.

— Мам! — говорит он грубо, как она, и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит. — Мама, — повторяет Сережа непослушным голосом. — Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима. — Он молчит, потом поправляется: — ...Никодима Михайловича. — И опять молчит. — Я не против, — выговаривает он наконец, — пусть женится на тебе.

Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами.

— Пусть он на тебе женится, — начинает торопиться Сережа, — пусть. В тесноте, да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать. — И кончает неожиданно: — Ведь папы нет...

Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ.

— Не думай об этом, Сергунька, — говорит мама. — Я ведь решила.

Он отшагивает от нее.

— Это ты из-за меня, — говорит он громко.

Мама молчит, качает головой.

— Да он теперь не придет, — говорит мама.

— Придет! — уверенно смеется Сережа. — Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!

— Глупенький, — улыбается мама, — не все просто. Он не придет. И я к нему не пойду.

— Значит, я пойду! — не задумываясь, отвечает Сережа, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже.

Брякнул, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?

12

Утром, по дороге в школу, Сережа видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст.

Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстаются, даже не кивнув друг другу.

Сережа глядит, как Литература ковыляет, покачиваясь, на каблучках, будто на коньках, потом оборачивается на мужчину и обмирает.

Через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим.

Сережа мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед.

Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.

Сережа обгоняет Никодима и останавливается перед ним.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — говорит он, переводя дыхание. Никодим останавливается. Удивленно разглядывает его.

— Ну, привет! — отвечает тот недоверчиво.

— Это я виноват, Никодим Михайлович, — говорит Сережа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. — И я вас не ненавижу. Вы ошибаетесь. — Сережино наступление обескураживает Никодима. — Если я вас обидел, извините меня, — продолжает Сережа. — Вы должны к нам прийти.

— Никому ничего я не должен, — мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: — Это ты сам? Или мама тебя послала?

— Эх, вы! — задыхается от возмущения Сережа. — Можно ведь догадаться, кажется! Если бы мама, я вас дома нашел. А я случайно

вас увидел. С училкой нашей. С Литературой.

Никодим растерянно кивает, огибает Сережу, потом оборачивается:

— С Литературой, говоришь? И вдруг смеется.

Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается — ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим.

Вовсе не противный.

— С Литературой, — кивает Сережа и смеется тоже. — А вы с ней, оказывается, знакомые!

— Знакомые! — говорит Никодим.

Они стоят друг против друга и улыбаются — тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

#### 1

Свадебное путешествие...

Никодим сказал:

— Едем в свадебное путешествие.

— Счастливого пути, — дрогнув, ответил Сережа.

— И ты с нами, — сказал Никодим.

Сережа посмотрел на него подозрительно.

— Куда? — спросил он.

— Секрет фирмы, — засмеялся Никодим.

— А когда?

— Когда кончишь учиться.

Сережа где-то читал, что раньше в свадебные путешествия ездили за границу. На каком-нибудь пароходе с парусами. На какие-нибудь

Азорские острова. Вот житуха была! Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигарету. Любуйся морями и пальмами.

Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.

Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.

Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей — подумать только! — три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаком потер — нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.

Сережа у мамы давно велик просит. Мама не покупает. Ей не жалко, она боится, что он под машину угонит. А тут три сразу! Да откуда?

Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.

— Последние подробности, — говорит он. И велит: — Вставай скорее!

Они быстро завтракают, выводят во двор своих коней, Никодим рассказывает, как весь вечер чистил в сарае от смазки купленный вчера велик для Сережи, как брал напрокат остальные.

И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз — и они в свадебном путешествии. Едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке.

У Сережи дорожный ЗИЛ — он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный.

На бугорочках сиденье пружинит — не скрипнет! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля: «Чш-ш-ш!» Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик как вкопанный на месте стоит.

Сереза разгоняется по дороге, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Сереза тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чем они говорят.

— Если гнать, — говорит Никодим, — то можно и за сутки доехать. Восемьдесят километров не так уж много. Но к чему? За три дня не спеша и доедем. Покупаемся где-нибудь. Позагораем. Цветов нарвем! Заночуем у костерка.

Мама согласно кивает Никодиму, Сереза смотрит на него с интересом.

«Как все-таки я не прав был, — думает. — На Никодима зверем глядел. Карточку его ненавидел».

Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сереза разглядывает его. Вглядывается.

Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы сивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Белокуроыми. Но не чисто. С каким-то серым отливом. И уши торчат, тоже правда. Но, если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого, напротив, прижатые. Также нехорошо. А в общем-то для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщине — да. Уши торчком — нехорошо. Но и то их, наверное, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отрастить, на затылке узлом завязать — вот уши и прижмутся.

От Никодима Сереза к Ваське переходит почему-то. О ней думает.

Хорошо, думает он, у Васьки вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Косичка сзади толстая. Глаза... Он вспоминает Васькины глаза. Как два выстрела...

Сереза смущенно хмыкает. Что это он о Ваське думает. Уж не того ли... Не влюбился?

Раньше бы за такую идею Сереза сам на себя разозлился. А сейчас, странно, ему даже приятно это слово повторять. Влюбился... Хм... Влюбился.

Ничего такого Сереза не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но как-то со стороны словно бы. Вон Понтя зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Серезе ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Не античный, конечно, но ничего. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила, отцовский нос. Она его вообще на две части делила. «Нос, — говорила, — отцовский, а глаза мои. Ресницы тоже мои, я когда девчонкой была, они такие же пушистые были. Даже смотреть мешали». Сереза жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит. «Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают...»

Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало. Вот черт, локоть саднит.

Сереза смущенно поднимает свой ЗИЛ, оглядывает технику. К нему бежит мама, ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в кювет, кладет рядом со своим, подходит к ним тоже.

— Как это тебя угораздило? — смеется он.

Сереза пожимает плечами. Не признается же, в самом деле, что в зеркало загляделся!

— Тебе шутки, — недовольно одергивает Никодима мама. — А у него кровь, видишь. Локоть разбил.

— Сейчас обеспечим, — говорит Никодим и приносит свой рюкзак.

Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сереже больно, он попискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А в глазах Никодима срамиться нельзя.

— Перебинтуем? — смеется Никодим, но Сережа качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без маминых сентиментальностей. Раз-раз — и готово. По-солдатски.

Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сережа.

— Со мной однажды случай был, — говорит Никодим. — В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой дело было. Стою я у склада, карабин на плече...

— Заряженный? — спрашивает Сережа.

— Конечно, заряженный, — отвечает Никодим. — Ведь на посту! Ну стою я, валенками притопываю, чтобы не околеть. А погода как назло: ветер, снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа болтается.

Хожу я, значит, как положено, вдоль склада. У двери чуть топчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность — три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу — под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет!» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу, гляжу — полез. В третий раз окликаю —

шевелится. Ну, я в воздух — шаррах!

— Выстрелил? — ужасается Сережа.

— Выстрелил. Потом целюсь в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.

— Ну? — нетерпеливо торопит Сережа.

— Ну прибежало начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили. Со сжатым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится.

Сережа хохочет, мама не отстает.

— Не смейтесь, — говорит Никодим, — надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали «Бдительный».

Мама и Сережа покатываются над Никодимом. Над его незадачливостью. Никодим и сам беззаботно смеется. Это хорошо, думает Сережа. Мама ему говорила, что если человек над собой посмеиваться не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.

Никодим все больше симпатичен Сереже.

— А на войне вы были? — спрашивает он Никодима.

— У Никодима Михайловича имя-отчество есть, — строго глядит на Сережу мама.

— Вот пустяки! — обижается Никодим. И говорит серьезно: — Ты это, Аня, брось! Как Сереже захочется, так пусть и зовет.

Сережа нажимает педали, мчится вперед.

Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?

— Сережа! — кричит сзади мама. — Подожди!

Сережа не тормозит, но и не крутит больше педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережу.

— На войне я не был, — говорит ему Никодим, — хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне, когда война началась, десять лет было... Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок — до леса — наперегонки пройдем. Кто кого.

Сережа, улыбаясь, кивает.

— Но вы же не на равных, — говорит мама.

— А мы устроим гандикап, — говорит Никодим. — То есть уравнием силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед, к тому кусту... Вот теперь на равных.

Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку.

— Приготовились! — кричит она. — Внимание! Марш!

Сережа привстает с седла, всем весом наваливается на педали — даже цепь трещит — и мчится вперед, к невидимому финишу.

Он не оборачивается. На соревнованиях не глядят назад.

Сережа летит вперед, нависая над рулем.

Ветер звенит в ушах. Запах сладкого клевера врывается в ноздри.

Сережа мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль...

2

Сережа бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они дымят вначале, как валит от них густой седой дым — испаряются соки из хвои, — потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются алой, раскаленной стружкой. Звенящее комарье, как

только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, въедливо кружится за спиной, в тени, и Сережа опять бросает ветки.

Он слушает, о чем говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра, от огня, глядядается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым: оно прихотливо меняется — то опадая, то взлетая, и показывает Сереже странные чудеса — то красную, в прожилках, скрюченную руку, то косматый, ощерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда — и крылья исчезли, вместо них — рыжая борода.

Сережа замер, он рад был повернуться к маме и Никодиму, но глаза его словно привязаны, словно утонули в огне.

— Мне, когда война началась, — говорит Никодим негромко, — было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечки — на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать, — для конспирации, влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. — Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила, сам он некурящий. — Ну а правил тогдашних, — продолжает, — не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков — в Москву по пропускам только въехать можно. Ну, меня прихватили. В изолятор.

— А мы в войну, — перебивает его мама, — в деревню из города переебрались. К родственникам. В городе совсем с голодухи помирали. Летом еще ничего, крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой совсем голодно. Отец без вести пропал, у матери специальность — домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо, надселась, совсем уже подыхали,





да хорошо, мать решила. В деревне хоть тяжело, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли...

— Ну а вы-то, — спрашивает Сережа Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение делает. Но мама молчит, а Сережа поправляется: — Как там дальше с вами было?

— Никак. Доставили меня назад, — отвечает Никодим. — В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь, — хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл... Потом разобралась. Еще сильнее дома побила.

Сережа смеется. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:

— Что она у вас такая драчунья! — И добавляет: — А кто она?

Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загнипнотизированно в пламя, разглядывая огненные фигуры, и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:

— Да так... Женщина...

Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху, в кружках, плавали кусочки сгоревших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их к краю кружки, обжигаясь вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!

Мама прилегла, голову Никодиму на колени примостила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них поглядывает, улыбается. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится. тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.

Никодим гладит маму по голове, играючи щекочет ей ухо травинкой.

Мама, задумавшись, отряхивает с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают.

Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он нехорошо, неумело, сразу видно, что медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже стройнее: Никодим под маму подстраивается.

Что стоишь, качаясь,  
Тонкая рябина, —  
Головой склоняясь  
До самого тына.

А через дорогу,  
За рекой широкой,  
Так же одиноко  
Дуб стоит высокий.

Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет, и он подтягивает, вернее, выкрикивает смешливо:

Как бы мне, рябине!  
К дубу! Перебраться!  
Я б тогда не стала  
Гнущься и качаться!

Мама грозит ему пальцем, Сережа умолкает, но веселье так и распирает его. Хочется ему взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает: когда они Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил. Мама и Никодим кончают петь, и он им шутку повторяет:

Там царь Кашей по рынку бродит  
И спекуляцию наводит.  
Он банки тама продает  
И по полтиннику дерет...

Шутка, конечно, не для семиклассника — он все же в седьмой перешел, но ему дурить хочется, а взрослые его понимают: мама шутливо головой качает, Никодим улыбается. Сережа видит: они до-

вольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски: ладонью к губам и быстро ею машет. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его.

— Ого-го!— кричит Сережа.

— Ого-го!— кричит мама.

— Ого-го!— кричит Никодим.

Эхо объединяет их крики, отвечает по очереди, Сережиным, маминим, Никодимовым голосом:

— Ого-го-го!

Потом они спали в стогу!

Никодим раскопал подножье стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевленных. Жизнь могла быть и у скошенной травы, у этих миллионов и миллиардов пахучих, душисто-приторных травинок.

Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо — громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного, кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным, необозримым лесом. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, — лес, а Сережа, как всякий человек, ви-

дит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И огорчаться, наверное, умеют. И бояться. И страдать.

Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным.

Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается.

Как быстро прошла ночь! Уже утро.

Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисеей тянется туман.

Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы.

Сережа видит, как они наклоняются и как бы ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.

Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. словно оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу.

Они едут дальше.

Спицы в колесах сливаются в серебристые круги.

Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбираются на большак, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропку и неслышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик иван-чая.

«Что такое счастье? — думает Сережа и сам себе отвечает: — Счастье — это как сейчас!»

Бабушка их не ждет.

Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается в ого-

роде и долго издали не понимает, кто приехал. Не может себе поверить.

Потом подходит, взглядываясь, осторожно подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уже тогда говорит испуганно:

— Господи!

Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет:

— Господи! Господи!

Сережа смеется. И над бабушкой. И над Котькой. Тот однажды с тетей Ниной к ним в гости пришел и во дворе гулял. Сережа его проводить вышел, смотрит, Котька с девочками стоит.

Одна лопочет:

— Господи, господи!

Вторая спрашивает ее:

— Что это?

— Это тетька такая, — отвечает первая.

— Эх вы, — важно объясняет Котька, — это говорят, когда гостей не ждут, а они пришли.

Сережа тогда расхохотался. И сейчас смеется. Прав был, оказывается, маленький Котька.

Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умываться.

Никодим скинул рубашку, голый до пояса, — смеется, крикает зычно, по-своему: «Хо! Хо! Хо!» Сережа ему подражает — вода ледяная, и он орет, дурачится, растирается длинным полотенцем с красными петушками по краям.

Замечательно все-таки кругом!

И бабушка совсем не злая. Улыбается — пришла в себя! — толстые губы растягивает, показывает ровные, будто у девушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплываются.

Они сидят за длинным деревян-

ным столом, потемневшим от времени, пьют холодное молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отдыхают.

— Это так, вперекуску, — говорит бабушка, волнуясь, и Сереже кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. — Это так, с дорожки, — разъясняет она. — Сейчас курицу зарежу, будем обедать.

Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:

— Никодим — мой муж. Вот мы к тебе показаться приехали.

Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но отчего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему — тот к ней наклоняется, целует ее.

— Здравствуй, зятюшко, — говорит она, — здравствуй, золотой!

Мама отворачивается, хлюпает носом, закуривает, смеется.

— Ну что? — спрашивает. — Довольна? Дождалась?

— Дождалась! — говорит бабушка и при Никодиме маму спрашивает: — А он какой? Не пьет? Не блудничает?

Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима.

Днем они едят наваристый куриный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугушке парит свежая картошка.

После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Сереже рубаху, и вчетвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.

На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки щелкают, транзисторы слушают. На бабушку с гостями глядят.

Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за ручку здороваться не обязатель-

но — она своя, тутошняя, а гости всем интересны. Сережа заметил: лица у деревенских как бы бронзовые. Загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.

Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует. Словно зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит — им тоже неловко, но терпят.

— Э-э! — подходит лысый, но с косматыми бровями старик. — Анька голоногая приехала.

— Она самая, — отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: — Меня голоногой прозвали за то, что, бывало, без чулок зимой в школу бегала. Нечего надеть.

— Вот-вот, — говорит старик. — Бедовали крепко. Теперь, гляжу, оправились. Вон Евгения-то распухла, — кивает он на толстую бабушку. — Эк, кадушка!

Бабушка старика шутя кулачком по лысине колотит, толкает, сама же смеется.

— Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась!

— Ага! — кивает старик. — А теперь пойдешь?

Все смеются.

— Идем! — шутит бабушка, берет старика под ручку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берет у мамы папироску, курит. Колечки пускать пытается.

— А ты кто же по специальности-то будешь? — допытывается дед у Никодима.

— Экономист, — отвечает тот.

— Экономист! Хо! Бухгалтер, што ли?

— Нет, — смеется Никодим, — похоже, но не то. Как бы вам объяснить... Главнее, что ли...

— Главнее! — понимает старик. — Начальник, значит.

— Не поняли вы меня, — опять смеется Никодим, — дело это как бы главнее бухгалтерского. Сложнее.

— Экономию, значит, наводишь? — уточняет дед.

— Вроде того! — кивает Никодим.

— Ну с этим ясно, — волнуется дед. — А вот что про Америку слышать? Войны не предвидится?

Дед, как репейник, приставучий. Все ему что-то от Никодима надо. Проводил их до конца деревни. Обрато вернулся.

А деревня Сереже понравилась. Тополями заросла. На плетнях глиняные горшки сушатся. Подсолнухи из огородов головами машут.

Когда домой возвращались, колесный трактор навстречу попался. Тракторист, весь черный от копоти, возле них затормозил, кепку снял.

— Ань! — говорит бабушка. — Не узнаешь? Двухродный брательник.

Мама ахнула, трактористу руку подала, рассмеялась, на ладошку поглядев: вся черная.

— Валь! — кричит трактористу. — Приходи с гармошкой!

Под вечер полная изба народу собралась.

Валентин с гармошкой пришел, наяривает. Бабушка с тем стариком пляшет, половицы трещат. Табачный дым не успеваает в окошко вылазить. Мама частушки поет:

Я не знаю, как сказать,  
Чтоб судьбу с твоей связать.  
Чтобы путать — не распутать,  
Чтобы рвать — не разорвать.

Гармонист на минуту остановится, рюмку опрокинет, пот со лба вытрет да снова заиграет.

Сережа и не думал, что у него столько родственников. Двухродные тетки и дядья. Дети их. Троюродные Сережины братья и сестры, значит.

Один родственник Сереже приглянулся. Парень постарше его.

Стриженный под нулевку. На лавочке скромно сидит, скользкий огурец в тарелке поймать не может.

Надоело родственнику огурец ловить, встал, тихонечко вышел во двор. Сережа подождал для приличия, тоже вышел.

Стриженный парень столбик у крыльца подпирал. Сережу увидел, не удивился. Сунул руку в карман, протянул сигареты.

— Не-е!— испугался Сережа и оправдываться стал:— У меня мать смолит ужас как. Я поэтому табака не выношу.

Парень кивнул, солидно объяснил:

— Меня Колькой звать.— И спросил без перехода:— Ваша техника?

Велосипеды посверкивали в глубине двора.

— Наша,— ответил Сережа.

— Сразу три велика?— удивился Колька.

— Сразу три,— подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности. Предложил:— Хочешь попробовать?

Стриженный Колька закатал правую штанину, вывел Сережин велосипед на улицу, сел как следует, повивая, едва не навернулся, но все-таки поехал и скрылся в темноте. Вернулся он не скоро, минут через десять, и по тому, как торопливо слез, а потом стал многословно нахваливать велосипед, Сережа понял: все-таки навернулся.

«Ну и пусть,— подумал Сережа,— не жалко, все же родственник».

Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал:

— Хочешь на тракторе прокатиться?

— А ты умеешь?— не поверил Сережа.

— Айда,— ответил Колька и, не оглядываясь, побежал.

Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин, и тут выяснилось, что Колька — сын Валентина, а трактор водить научился в школе, у них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист.

Колька уселся на сиденье, построил рядом Сережу, включил фары. Трактор затарахтел, застрелял, рванулся с места.

— А вдруг отец услышит?— крикнул, тревожась, Сережа.

— Не,— мотнул головой Колька,— он на гармошке себе все звуки заглушает.

Трактор вырвался за околицу, помчался по пыльной, мягкой дороге.

— Как легковушка шпарит!— крикнул, щурясь, Колька. И вдруг свистнул — протяжно, по-ухарски. Сережа засмеялся, приставил ко рту два пальца. Теперь они свистели вдвоем, и звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный. Похожий на вой доисторического животного.

— Колька!— крикнул Сережа симпатичному родственнику.— Давай в город приезжай!

— Я был!— ответил Колька.

— Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу! В киношки походим! В зоопарк!

— Договорились! — крикнул Колька и повернулся к Сереже. Стриженная голова его в отраженном свете фар походила на круглого ежика.

Сережа рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке. Что-нибудь подарить, к примеру, щедро. Какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу.

Все ему нравилось в этот миг; и добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная до-

рога впереди, и мелькающие сбоку березы.

— Ну так приедешь? — воскликнул Сережа.

— Железно! — ответил Колька.

Как приятно, подумал Сережа, узнавать новых людей. Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть. А сегодня у него прибавился еще один друг.

— По рукам? — крикнул, веселясь, Сережа.

— По рукам! — ответил Колька. И, повернувшись, протянул Сереже свою ладошку.

Пожать ее Сережа не успел.

Раздался треск, и он как бы очутился во сне: под ним не было земли, он летел куда-то.

## 4

Теперь Сережа — «самолет».

Левая рука торчит на отлете. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана. Посмотришь со стороны — в самом деле одно крыло.

В палате, где он лежит, два «самолета» — он и молодой парень, «пушкарь» — серый дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицепленная через колесики к тяжелому противовесу. Есть «рыцарь». Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. «Рыцарем» он стал потому, что сел на подоконник, спиной к улице, покачнулся, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу — сломал только шею. Теперь лежит, закованный в броню от затылка до пояса.

Невеселая компания, что и говорить.

Времени много, а девать его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, похмыкает, уйдет, ничего

не сказав, а что тут скажешь, теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в покое срastутся.

Сережа читает «Графа Монте-Кристо», толстенный том — мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал, а в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает. Они внимательно слушают. Довольны, что Сережа время убить помогает. «Укокошить», — балагур говорит.

Он слово берет, когда всем все надоест и уж немогогу станет. Когда уж и «Граф Монте-Кристо» не помогает.

— Кхе, кхе, — начинает, — однако, вот выпишусь, в космонавты пойду. А что? — сам себе удивляется. — Там мягкая посадка, а я и твердую испытал, возьмут...

От тоски да скуки больным любая шутка мила. Самая малая.

— Хотя нет, — говорит дядя Ваня. — Надо еще себя испытать. Этажа с десятого бы жахнуть.

— Ты хоть испугаться-то успел? — спрашивает его «пушкарь».

— Зачем пугаться, — отвечает «рыцарь», — я, может, к этому прыжку всю жизнь готовился.

Сережа покатывается.

У дяди Вани трое пацанов. И жена — худенькая, замотанная. Они приходят в конце дня: жена с работы забегает в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно: чего купила, куда ходила, кто из соседей чего сказал, как ведут себя дети — каждый в отдельности. Дядя Ваня делается серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пацанами — наказывает, кто как себя вести должен, но под конец не удерживается.

— А то брякнетесь, — говорит, — как ваш папка, с третьего этажа. Да коли не на клумбу!

Сереза прыскает, жена балагура уходит, рассерженная, но на другой день они снова все вместе являются с тощенькими гостинцами: яблоком или банкой компота.

Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор, и Сереза рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, стриженным Колькой, как врезались в березу и Сереза пролетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память.

— Тоже, значит, летун,— роднит его с собой дядя Ваня. А про память объясняет коротко:— Замыкание! У меня тоже было.

Серый «пушкарь» хоть и смеется дяди Ваниным шуткам, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет.

— Балабол! — говорит он.

— Откуда вы знаете? — возмущается Сереза.

— Хе,— машет рукой унылый «пушкарь»,— да по специальности видать! На катках бабы работают.

Это Серезу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится. Если бы не он, совсем они тут посохли.

Два раза в день — утром и вечером — к Серезе приходит мама. И оттого, что видит он ее с перерывами, а не подряд, изменения в маме Серезе лучше заметны.

Главное изменение в том, что она красивее стала. Лицо глаже — чутьточку пополнела. Платья у мамы новые появились — цветастые, яркие, они ей идут, молодят. Туфли на высоких каблуках носит — выше ростом стала, приподнялась. А главное — улыбается все время.

— Ох ты, горюшко мое,— говорит Серезе, а сама улыбается. Видно, что горюшка нет, хоть он и в больнице оказался.

Тогда, после тракторной ката-

строфы, Серезу в районную больницу повезли. На большаке машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофера узнала, что он в город едет. Ну, вместо райцентра его сразу сюда доставили.

Так что быстро свадебное путешествие закончилось. И велосипеды у бабушки остались. Но не это Серезу волнует. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал, она ответила уклончиво — ничего. Трактор не сильно побился, только большая вмятина в радиаторе и фары — вдребезги.

— Попало ему? — спрашивает Сереза. Мама плечами пожимает, улыбается неопределенно:

— Наверное,— говорит,— немножко...

Серезе жаль Кольку. Он же знает — тот его катал от чистого сердца, в благодарность за велосипед.

Сереза просит, чтобы мама принесла листок бумаги, ручку, она приносит, и он пишет письмо:

«Колька, не унывай, я поправлюсь, ничего особенного, просто перелом, только чешется шкура под гипсом, но уговор дороже денег, приезжай в город, как обещал. Привет!»

Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать, потом читает послание.

— Ты не забыл? Ведь завтра день рождения! — спрашивает она.

В середине июля у Серезы день рождения. В этот раз — четырнадцать лет. Но ведь как не повезло с рукой! День рождения — в больнице.

— Может, выпустят? — жалобно говорит Сереза. Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать Понтю, Роберта из кружка. Может, позвать Ваську.

— Не унывай,— отвечает мама и снова смеется.— Что-нибудь придумаем.

Вечером Сережа засыпает не сразу. Долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку на затылок забросить, повернуться. Но левая рука вверх торчит.

Сережа ерзает, пыхтит, искомкал простыню. Наконец притихает. Думает, что же завтра мама изобретет?

Но мама ничего не изобретает. Ее просто нет.

Всегда два раза в день — утром и вечером приходит, а сегодня, в такой день, ее нет.

Сережа ест утреннюю больничную кашу, и обида хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню.

А тот, как назло, старается. Мелет какую-то ерунду. «Пушкарь» и второй «самолет» ржут. Дядя Ваня умолкает, подходит к Сереже, садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко.

Сережа смотрит на дядю Ваню, на «рыцаря» в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит в первый раз, потом говорит негромко:

— Спасибо, дядя Ваня.

Тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полосу.

— Между прочим, я тебя за умного мужика считал,— говорит.— А ты скис. Думаешь, мама тебя забыла? Дурак! Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь.

Настроение у Сережи поднимается. Он не отрывает взгляда от двери. Конечно! Что за сомнения! Мама придет, и не одна — с Никодимом, он просто уверен в этом.

Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается. На пороге стоит Понтя во взрослом халате. Халат волочится по полу, рукава на Понте, как на пугале, — свисают вниз.

Понтя делает шаг в палату, и на пороге возникает Васька.

Сережа приподнимается, пораженный и смущенный.

Он чувствует, как начинают гореть щеки. Галя изменилась, пока он ее не видел. Глаза, кажется, стали еще больше и вообще... Какая-то совсем взрослая. Ее теперь и Васькой-то не назовешь.

Сережа смотрит на Галю, но та тоже делает шаг вперед и уступает место Никодиму. Сережа приветливо машет ему здоровой рукой, ждет, когда появится теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котька, за ним тетя Нина и Олег Андреевич в своей форме. Вот это да: столько гостей сразу! Сережа теряется, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге наряженная, с новой прической, ароматная, благоухающая.

Все поздравляют Сережу, жмут ему руку, балагур и второй «самолет» норовят выйти, смущенные таким обилием гостей, но мама их не выпускает, они сдвигают табуретки, застилают газетами, потом чистой скатертью — мама принесла ее с собой, и из авосек выгружается еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной, пышный узорчатый торт.

— По всем правилам! — кричит Понтя, втыкает в торт четырнадцать тонких елочных свечек и зажигает их.

Все замолкают на мгновение. И вдруг Сережа видит, что Котька сложил ладоши лодочкой, прикрыл глаза и шевелит губами. Он хочет засмеяться, но тетя Нина перегоняет его.

— Ты что, Константин? — спрашивает Котьку строго.

— Я, мама, молюсь, — отвечает Котька серьезно.

— Как молишься? — удивляется Олег Андреевич.



— Вот так!— говорит Котья.— О бог, святыня браголодная, сделай так, чтобы Сережа скорее поправился.

Балагур дядя Ваня даже подпрыгнул на кровати.

— Ой!— кричит он.— Помогите! Не могу!

Все хохочут, покатываясь, утирая слезы, а Понтя даже икая.

Открывается дверь, и заглядывает нянечка. Смотрит, что все смеются, моргает глазами и, не зная, что к чему, сама смеется.

5

Через неделю после дня рождения выписали второго «самолета», а дяде Ване сделали новую операцию. Что-то у него не так срасталось.

— Это надо же,— говорит он, покрываясь липким потом, серая, но все-таки улыбаясь.— Второй раз шею сломали и снова составили.

От боли он курит, пуская дым под одеяло, кривит губы.

Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Сережу:

— Который отец-то? Милиционер?

— Нет, другой,— ответил он автоматически и осекся.

Выходит, назвал Никодима отцом?

Сережа задумался. Выходит...

Ему стало грустно. Как он быстро от отца отказался... Давно ли Никодим к ним пришел? Третий месяц... Три месяца назад Сережа его ненавидел, а теперь относится хорошо, привык. Может, даже любит?

Сережа думает о Никодиме, вспоминает про свадебное путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирал с мамой цветы, а еще прежде, у костра, гладил ее голову, щекотал ухо травинкой.

Раз мама любит Никодима, значит, и он любит ее. Выходит, так? И выходит еще, что Сережа должен любить его. Должен считать отцом?

Сережа думает про измену, про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим — его отец. И этим как бы предал отца настоящего.

Отец у Сережи — летчик, он этим всегда гордился. Хотел быть похожим на него. Модели клеил. А теперь... Теперь что же выходит?

Он прикрывает глаза, пытается вызвать из памяти неизвестное лицо отца — то похожее на Чкалова, то с улыбкой Гагарина, то на тех, в высотных костюмах. От усилия Сережа даже сжимает веки. Но не выходит... Это ужасно — не выходит. Он клянет себя последними словами, щиплет за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца, всего три месяца назад отец снился ему ночами — пусть с разными лицами, но снился, а теперь он видит во сне что угодно, всякую чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни во сне, ни в памяти.

Мамины улыбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблучки. Он смотрит исподлобья, когда она приходит, и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить, но Сережа от этого только больше раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи:

— Ты все забыла?

— Что забыла? — удивляется мама.

— Про меня. Забыла, да?

Мама трясет головой, не понимает никак.

— Кем я буду,— говорит он и видит, как мама грустнеет.

— Нет,— отвечает она.— Помню. Я звонила в кружок. У них скоро соревнования.

— Когда? — приподнимается Сережа.

— Могу уточнить, — обещает мама.

Сережа припоминает новый самолет, управляемый по радио, который они вместе с Робертом начинали, припоминает запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке.

Что ж делать, отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дело. Есть авиация. И авиамоделный кружок!

Сережа ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьезную вещь. Глаза ее не улыбаются — смотрят широко, удивленно, как тогда.

— Я все помню, — говорит она ласково. Неожиданно добавляет: — Но и ты помни про меня.

Сережа не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про нее? Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь? Он улыбается. Отходит. Разве забудешь хотя бы день рождения?

А потом у него снова праздник.

Спустя несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из авоськи сверток. Сережа смотрит с любопытством — что там вкусенького? Но Никодим достает не еду, а Сережины брюки.

— Одевайся скорей, — улыбается он, — едем!

Сережа знает — выписать его не могут, пока не снят гипс, волнуясь, надевает брюки, не спрашивая ничего, оттягивая узнавание, потому что узнавание, судя по Никодиму, будет приятным.

И все-таки не выдерживает:

— Куда?

— На аэродром, — отвечает Никодим.

— Зачем? — удивляется Сережа.

— Твои соревнования! Едва вра-

ча уговорили — только на два часа.

Сережа подпрыгивает от счастья! Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную курточку. Они идут вниз. Там урчит такси.

— Заедем за Котькой? — смеется Никодим. — Тетя Нина просила.

И вот они вместе с Котькой и Никодимом летят по асфальту, за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбасой, по которой определяются направление и сила ветра, а потом появляются ангары с полукруглыми крышами, двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки АНы.

Еще из машины Сережа видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и оттого кажется, что на зеленой траве переливается радуга.

Сережа выбирается из машины. Его гипсовый «самолет» привлекает внимание шеренги, ребята разглядывают его, он видит, как кто-то машет рукой. Роберт! Это он!

— Привет рекордсмену! — кричит Роберт.

Сережа сигналил Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастлив! Пусть Никодим увидит его самолеты! Пусть он узнает, кем будет Сережа!

Сережа думает об этом без иронии, без превосходства. Просто Никодим должен знать это, вот и все.

— Что ли, ты летчиком будешь? — спрашивает Котька, увлеченно ковыряя в носу.

— Может, летчиком, — отвечает Сережа, — а может, конструктором. — И предлагает Котьке в порыве счастья: — Давай и ты!

— Даваю, — соглашается Котька. — Но я еще не решил, кем буду.

Может, диктором, может, сыщиком.

Они отходят в сторонку. Садятся в траву. Стрекогут кузнечики. Всплескивают крылышками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэродрома только кажется зеленым. Оно цветное. Оно алеет, голубеет, желтеет, и Сереже после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко.

Он улыбается Котьке и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима.

— Никодим Михайлович, — спрашивает Сережа, — а вы что же, с работы отпросились?

— Отпросился, — говорит Никодим, — у мамы срочная записка, она не могла, и я договорился.

Сережа вновь вглядывается в него, в который раз за немногие эти месяцы. Да нет, Никодим — замечательный! Он добрый человек, а добрые люди всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые, и лицо — прямое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны!

Сережа садится рядом с Никодимом, прижимает к себе Котьку. Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной.

Никодим обнимает его за плечо. Сережа прислоняется к нему по сильнее.

Ему хорошо.

Просто великолепно!

В поле урчат бензиновые моторчики. Ревут, форсируя обороты. Одна за другой модели взлетают в вышину, чтобы сесть потом в поле. У кого дольше летает, у того, значит, лучше модель. Надежней фюзеляж, легче крылья. У того вернее глаз и умнее расчет. Ведь в каждом лишнем метре, который пролетят модели, целая зима работы. Сережа знает, почему

фунт модельного лиха. Строишь самолет долго, а он в последнюю минуту не летит. Отказывает мотор. Или плохо отцентрирован корпус. Сколько горя потом, обиды. Хочется бросить все, растоптать ногами самим же сделанную птицу.

Модели взлетают, а Сережа переживает за каждую. Вот ровно идет, набрала высоту, значит, все в порядке. Моторчик стрекочет в тишине, потом замолкает. Кончился бензин. Но модель не падает. Она летит и летит плавными виражами. Это воздух. Восходящие потоки. Невидимые струи воздуха не дают упасть модели.

Сережа осторожно трогает руку Никодима. И вдруг слышит шепот:

— Сергей! — шепчет ему, наклонясь, Никодим. — Сережа! Хочешь быть моим сыном?

Сережа резко оборачивается к нему.

— Как это? — говорит он. — Как?

— Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын...

Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами.

Мысли несутся в нем ураганом. В этих мыслях есть все — испуг, смятение, сомнение, радость, подозрение.

Но им владеет то, что вокруг, то, что сейчас.

Аэродром, бабочки, Никодим, модели, летающие в синеве, солнечное тепло, Котька.

Им владеет реальное счастье — необходимое, как воздух, и он не может думать о плохом в эту минуту.

— Хочу! — говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается: — Хочу! Хочу! Хочу!

Август. Духота. На листьях тополя и акаций толстый слой пыли: давно не было дождей.

Серее сняли гипс. Рука срослась замечательно. Только малость похудела, и надо ее разрабатывать.

Каждый день Серее ходит в кабинет лечебной гимнастики. Шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею. А остальное время — на речке.

Вместе с Понтей они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами. Выныривают, отплеываясь, засекают на счет, кто дольше под водой пробудет, кто дальше пронырнет не дыша.

За лесом, над спортивным аэродромом, прыгают парашютисты. Серее видит, как медленно, старательно урча мотором, АН-2 поднимается над верхушками сосен и от него отрывается черная точка. Вспыхивает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолетик снова ползет в небо и опять бросает парашютистов.

Серее стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде Понтины ноги, и опять думает об этом, опять, опять...

Это было все тогда же, в тот замечательный день во время авиамodelьных соревнований. Серее был счастлив, бесконечно счастлив, и еще Никодим сказал свои слова... Серее согласился. Не было никаких сомнений, впрочем, что говорить — он и теперь согласен, но дело не в том.

Тогда, на авиамodelьных соревнованиях, произошло еще одно событие. И Серее стало стыдно за Никодима.

Все случилось словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другой, наконец настала заветная минута:

на старт вышел Роберт с новым самолетом.

Сначала все шло нормально. Роберт крутанул пропеллер, мотор затрещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту.

— Видите! — кричал Серее Котьке и Никодиму. — Видите!

Красный самолет смело разрезал воздух, потом неожиданно пошел резко вверх, почти вертикально пошел, видно, заело элероны, звук мотора сделался надрывным, дребезжащим, самолет нехотя повернул набок и вдруг пошел вниз. Прямо на них.

Серее глядел на красный самолет, толкая рукой Котьку, но Котька не уходил — им кричали что-то, и тут Серее почувствовал, что теряет опору. Он повалился. Рядом раздался треск, и все стихло.

Серее увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта.

А потом — Никодима.

Он стоял метрах в двадцати позади Серее и Котьки, растерянно оглядывался и чертыхался. Серее словно ударило: Никодим убежал! А их оставил! Серее сидел, навалившись на Никодима, а потом потерял опору...

Они скоро уехали в больницу — пришла пора возвращаться, — и чем дальше отъезжали от аэродрома в подвернувшемся «газике», тем больше Серее стыдился: ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя!

Времени прошло уйма — целый месяц. Серее из больницы выписался, плавает вот с Понтей, но как напомним ему что-нибудь про аэродром — модель или парашютисты вот эти, — так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима.

Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима. Что мог он

сделать тогда? Прикрыть их собой? Как прикроешь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сереже сломал бы. А потом, психологически объяснить можно: им же кричали. Сережа не опомнился, и Котька не сообразил, а Никодим среагировал. Вскочил и убежал. «Бдительный».

Сережа вспоминает смешной Никодимов рассказ про то, как он баллон расстрелял. И как солдаты его прозвали.

Сережа старается забыть странный случай. Тем более Никодим ему сказал такие слова... Но не забывается. Словно заноза в голову попала.

Нанырившись досыта, Сережа и Понтя идут домой и рассуждают о подводном плавании.

— Мой отец, — говорит Понтя, — может минуту под водой просидеть.

— А дед, наверное, все пять, — ехидничает Сережа. Ему ужасно надоело, что Понтя каждую минуту то на деда, то на отца ссылается — «Мой дед!», «Мой отец!».

Понтя дуется. Молчит. Молчит и Сережа. Ему неловко. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать: «Мой отец!» Но он не может.

Чтобы загладить свое глупое ехидство, Сережа хочет сказать Понте про Никодима. Про то, что тот его усыновить хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понте, но что-то удерживает его в последнюю секунду. Какое-то суеверие.

Усыновит, тогда скажу, решает он, хлопает Понтю по плечу, и ему радостно от того, что промолчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем сболтнуть.

С Понтей Сережа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, осторожно придерживает дверь, чтобы у соседки мозги не вылетели, входит в комнату,

оглядывается, глазам своим не верит.

У стола сидят Никодим, мама и — господи! — Литература.

Сережа застывает на пороге, ничего не может сообразить.

— Здравствуйте, — первой здоровается Вероника Макаровна.

— Знакомься! — говорит Сереже Никодим. — Это моя мама.

Мама! Сережа неловко роняет на пол ласты, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает: значит, Литература — его мать? Он вспоминает приезд Никодима. На другой ведь день Никодим шел с Литературой по улице. Но Сережа тогда не задумался почему, знакомые, и все, мало ли! И вот, оказывается, Литература — Никодимова мать и его, Сережина, родственница.

Он поднимает ласты, выходит на кухню, долго мылит там руки и все не может прийти в себя.

За столом ему неловко, он глядит в стакан, потеет и думает о том, что пришел домой рано, надо было еще погулять.

Взрослым, похоже, тоже неловко, они молчат, бренчат ложечками в стаканах с чаем.

— А ваш голос, — нарушает молчание Литература, — я часто слышу. Приятный голосок...

— Ничего, — сдержанно отвечает мама. — Специалисты хвалят. — Слово «специалисты» она произносит с ударением. Сережа посматривает на нее. Лицо у мамы вежливое, но не доброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряженно, неестественно прямо. И голову подняла гордо. Сережа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядит в никелированный чайник.

«Зачем уж она так», — думает он про маму и размышляет о Литературе. Что бы мог он сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашива-

ют, к тому же об учителях. Но мнение имеется. Одних учителей любят, других — нет, а Вероника Макаровна — никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много, а литературу — за что? Как интересно: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, за что? Но не любят, это верно. И неизвестно за что. А вообще Литература обыкновенная. Вот только из-за каблуков и чулок выглядит чудачкой. И не вредина она, не злая — зря мама с ней так говорит.

Снова слышен звон ложек в стаканах, опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как крепость, берет.

— Вы должны меня понять, — говорит она вкрадчиво, — наши судьбы очень похожи, я потеряла мужа в войну, Никодим рос тяжело...

Сережа видит, как напряглась учительница, как волнуется она и как неприступна мама. «Нехорошо это, — думает он, — негостеприимно. — И пугается по-своему: — Будет теперь Литература двойки из-за этого ставить!»

— Не женился он долго, мне хотелось, чтобы все у него было хорошо, понимаете? Как следует!

— Понимаю! — говорит мама злым голосом. — А вышло не как следует! — И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и ехидно: — Кто вот только меня поймет?

Вероника Макаровна заливается краской. Сережа не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен. Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растерянность у него уже прошла, и хотя радоваться не приходится,

что учительница оказалась еще и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. Сережа ерзает, придумывает, что бы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг для себя неожиданно бухает невпопад:

— А Никодим Михайлович рассказывал, как вы его ремнем лупили.

Сережа краснеет, понимая, что ничего он не улучшил, а наоборот, только испортил и Вероника Макаровна сейчас встанет и уйдет, он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только теряется от этого и подавленно молчит.

Вероника Макаровна испуганно глядит на Сережу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается:

— Это когда он на войну убежал? — спрашивает она. Никодим оживляется, перестает глядеться в чайник, благодарно смотрит на Сережу, а Вероника Макаровна объясняет: — А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась: вдруг снова воевать удерет?

Сережа улыбается: слава богу, что Вероника Макаровна его поняла, и еще хорошо, что мама сидит не напряженно и злое выражение сошло с ее лица. Теперь разговор идет обыкновенный, простой. Никодим рассказывает, что маме обещают дать к Октябрьским квартиру в новом доме, Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе, щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна. А мама смотрит в стакан, и лицо ее измученно, устало, растроено. Наверное, ругает себя за свои же слова. Такая уж она, мама.

7

К Октябрьским квартиру не дали.

Но это ничего не значит. К Новому году непременно дадут.

По вечерам, после работы, мама водит Сережу и Никодима к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока они освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы.

Мама притопывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб.

— Скоро, — кричит, — скоро в ванне будем мыться, под душем плескаться! Хватит в баню ходить! Надоело!

Никодим барахтается в снегу, Сережа толкает к сугробу маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит:

— Осторожно! Осторожно!

Сережа оставляет маму в покое.

Сначала он никак не мог понять, в чем дело. Почему мама с ним все о Котьке заговаривает?

— Как тебе Костик тети Нинин нравится?

— Мировой мужик, — отвечал Сережа. — Мыслитель! А что?

— Ничего, — соглашалась мама. И восхищалась: — Такой проказник! К ним ремонт пришли делать. Маляры принесли бочку с золотой краской — цветы на штукатурку наносить. Так он в этой краске вывозился, приходит и хвастается: «Я золотой!»

Сережа засмеялся. Известное дело, Котька. Что-нибудь да выдумает. И мамины слова буквально принимал. Нравится ей Котька, и только.

Это еще летом было. Но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась: кого бы Сережа больше хотел — братика или сестренку? Сережа сперва чуть не заплакал от обиды. Без него решили! А теперь спрашивают!

Он себя почувствовал одиноким, бездомным, ненужным. Мамино такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Сережу разглядывала с любопытством. Потом подвела итог:

— Это потому, что ты один всю жизнь рос. — И прибавила, подумав: — Подумай только, будет у тебя братишка. Такой же забавный, как Котька.

Сережа подумал. Ну, если как Котька — куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну если даже не как Котька, чего особенного? Или если девчонка, то что?

— Ну ладно, — сказал он маме, — рожай, кого тебе хочется. На твое усмотрение.

Мама расхохоталась. Потом сказала:

— Девочку хочу! И мальчика! Теперь уж Сережа смеялся:

— Жадная!

— Жадная, — кивнула мама, — жадная, Сергунька! Хочу, чтобы много детей у меня было. Ведь дети — это для женщины счастье! Это ее продолжение, понимаешь? Дети — продолжение человеческого. Вот будут и у тебя дети, а у твоих детей еще дети, твои внуки, а у тех еще — правнуки твои, и так вечно!

Мама вообще очень переменялась. Грубо не говорит. Курить совсем бросила.

— Это им вредно, — говорит мама и кивает на себя. Шутит: — А то еще родятся да вместо соски запросят папироски.

Они хохочут. Стихи получают! Вместо соски запросят папироски!

Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащила мама с Сережей Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит:

— Не к добру это! После смеха — всегда слезы!

— Типун тебе на язык! — говорит Никодим. — Заладила!

Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ними важно, осанисто. Сережа даже немного робеет перед ним, представляет, какая будет у них квартира, какую купят они мебель.

Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живет она не как люди, что нет у нее квартиры, приличной обстановки, и вообще... Мама отвечала ей: «Значит, не задалась твоя дочка». А потом гоняла по комнате табачный дым.

Как изменилось все, думает Сережа. Будет теперь и у них хорошая квартира. Но и это не главное. Мама — счастливая, вот что важно. Ничем не отличишь ее теперь от тети Нины.

«Дурак, — тут же клянет он себя. — Какой я дурак был! Ведь если бы Никодим к нам не пришел, ничего же не изменилось, так бы и осталось все, как было».

Он обзывает себя дураком, хвалит Ваську за то, что уму-разуму научила, думает о новом годе, каким он будет.

Еще счастливее?

Конечно, счастливее!

Так и выходит, как Сережа думает.

Ключи от квартиры им дают в три часа. Тридцать первого! А в двенадцать — Новый год.

Мама примчалась домой на такси, ворвалась, хохочущая. В руке железный ключик высоко держит. Словно волшебный, золотой. Никодим за спиной посмеивается.

— Собирайся! — кричит мама Сереже. — Летим!

Они летят в такси, их на каждом шагу норовят остановить — все торопятся, времени мало, но маши-

на мчится, круто руля, норовя носом врезаться в сугроб!

— Потихе! — кричит, смеясь, мама шоферу. — Мы в новую квартиру еще не въехали! Да и вообще! На тот свет не торопимся! У нас на этом еще дела есть!

Шофер улыбается, разглядывает маму — в пушистом зеленом берете, с помпошечкой, — говорит неожиданно:

— Что-то, извините, мне ваш голос знаком.

— Знаком! — важно надуваясь, отвечает мама. — Каждое утро слышаете, какую я вам погоду объявлю.

— Нет, правда? — удивляется шофер. — Вы, что ли, и есть Воробьева?

— Ветер умеренный, до сильного, — говорит, чуть меняя голос, мама. — Температура в области пятнадцать, в южных районах — минус двенадцать. В городе ожидается малооблачная погода. — Она смеется, не выдерживает.

Шофер мотает головой.

— Как это у вас получается? — говорит он. — Учились где?

— Самоуком! — смеется мама.

Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта.

— Тяжело ходить будет! — говорит Никодим.

— Ни чер-рта! — бушует мама.

— Тебе же нельзя, — кричит ей вслед Никодим. Она обогнала их на целый марш. — Да осторожнее! — сердится он. — Сумасшедшая! Куда легишь!

— К небу! — шутит мама. — Выше, к небу!

Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в двери, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом в другую. Возвращается молча, едва дыша, и бросается на шею Никодиму.

Он ее подхватывает осторожно,





кружит на месте. И вдруг мама плачет.

Никодим отпускает ее. Мама садится на пол, слезы градом льются из глаз.

— Боже мой! — говорит мама. — Подумать только! И все это мое! — Она показывает на Сережу. — И ты! — Смотрит на Никодима. — И ты! — Разводит руками, обхватывая квартиру. — И это!

Она плачет горько, безутешно, и тут же смеется, и вытирает лицо пуховым беретом, размазывая краску с ресниц.

И Сережа неожиданно замечает: лицо у мамы, еще только что радостное, вдруг делается усталым. Словно мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села. Все в ней опустилось, оборвалось..

Она пришла к цели.

8

Вечером они сидят на матрасах, разложенных по полу, а посередине большой лист ватмана. Это стол. На нем вина и закуски. Кроме матрасов, ничего перевезти не сумели, да не беда! Не беда, что на окнах занавесок нет, что маленькая лампочка, голая, без абажура, едва освещает комнату, главное — есть новый дом. И есть елка.

Ее Олег Андреевич принес.

— Котькина инициатива, — сказал серьезно. — Это он предложил свою елку вам отдать. И игрушки притащил.

У Сережи игрушки есть, но они остались в старой комнате, про них забыли в суете и хлопотах, а Котька молодец. Пыхтит, тащит большую картонку. Они развешивают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают ее, и в доме сразу настает праздник.

— Ур-ра! — кричат гости.

До Нового года еще полчаса, и мама вдруг предлагает:

— Хотите прочту стихи?

Все хлопают ей.

— Их записали на пленку,— объясняет она.— Скоро передадут. Но динамика нет, я вам сама прочитаю.

Наступает тишина.

Мама стоит коленками на матрасе. Лицо ее светлеет. Она говорит:

— «Как выпить солнце!» Владимир Солоухин....

Немного молчит.

Профаны,

Прежде чем съесть гранат,

Резут его ножом.

Гранатовый сок по ножу течет,

На тарелке — красная лужица.

Мы

Гранатовый сок бережем.

Сереза разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич — напротив, уперся взглядом в пол и думает тяжело о чем-то. Еще Виктор Петрович, звукооператор — дядька с маминой работы, — волосы у него столбом, похожи на серый дым. Он пришел с женой, румяной и толстой, — у нее щеки как две булки. Хорошо, что все на матрасах сидят — ей бы и двух стульев не хватило. Улыбается, внимательно слушает маму.

Обтянутый желтою кожейрой,

Огромный,

Похожий на солнце плод

В ладонях медленно кружится.

Обсмотришь его со всех сторон:

Везде ль кожара цела.

А пальцы уж слышат сквозь кожуру  
Зерна —

Нежные, крупные,

Нажмешь легонько

(Багряна мгла!),

Кровью брызнули три зерна.

(Впрочем, брызгаться тесно там —

Глухо и сочно хрупнули.)

У Серезы слюнки текут от кислого гранатового сока. Граната нет, а слюнки текут, так мама вкусно читает.

Теперь осторожно мы мнем и мнем

Зерна за рядом ряд.

Струи толкутся под кожейрой,

Ходят, переваливаются.

— Сергуня, — зовет его Котька и тянет за рукав.

— Чего тебе! — ворчит недовольно Сереза.

Стал упругим,

Стал мягким жесткий гранат.

Все тише, все чутче ладони рук:

Надо следить, чтоб не лопнул вдруг—

Это с гранатом случается...

— Я хочу, — дергает его Котька.

Сереза недовольно встает, ведет Котьку в туалет. Так и не дослушал он, что там с гранатом надо сделать.

Любопытно, рассуждает Сереза. Мама ему покупала раньше гранаты на рынке у грузин, он тоже резал его ножом, обсасывал косточки, и мама резала, но, оказывается, они профаны... Впрочем, разве в этом дело?.. Гости дружно хлопают. Сереза возвращается с Котькой в комнату. Жалко, не дослушал мамины стихи, вот что.

Стреляет пробка. Врезается в потолок. Рикошетит по Котьке.

— Вот чудеса, — говорит он задумчиво, — вино пьют взрослые, а достается мне.

Ну, Котька, ну, мыслитель! Все хохочут над ним, потом чокаются шампанским.

— Ур-р-ра! — надрывается Сереза. — Ур-р-ра! — он торопливо зажигает бенгальские огни, передает их гостям, гасит свет. Мерцают на елке разноцветные огоньки, брызжут сверкающие цветы, мама ползет на коленках к гостям и всех целует: тетю Нину, Олега Андреевича, седого звукооператора, его жену. Мама роняет рюмки, хохочет, повизгивает, а Никодим говорит ей:

— Аня! Аня! Осторожней!

— Ну как же! — кричит ему мама. — Как же не выпить, не порадоваться?! Такой день, — и машет ему

пальцем: — Смотри не забудь. Тридцать первое декабря.

...Тридцать первое декабря. Потом первое января. Сошлись два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый год был. А через минуту — новый. Никакой паузы, никакой остановки. Одна секунда нового года, пять секунд — и пошло, поехало... Целый час прошел. Потом незаметно — день.

Январь для любого школьника счастливо начинается — ведь каникулы. Сережа ходит в кружок, теперь он новую модель делает. Самостоятельно. Роберт его только консультирует.

После кружка Сережа катается на лыжах. На троллейбусе едет до конца маршрута. Там горы. По субботам он с собой Котьку берет. Когда едут с катанья, Котька от усталости засыпает, привалившись к Сереже. Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Котькина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котька похож на мокрого, жалкого щенка. Нежность к нему разливается в Сереже. Он знает — это нежность к будущему брату. Или сестре...

После Нового года мама вся в хлопотах. Она заняла денег у тети Нины и Олега Андреевича, носится по магазинам.

Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван. Стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати.

Дом обрастает вещами, и Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания — ей на стул, к примеру, теперь не забраться. Да и ни к чему — на стуле стоит Никодим, он цепляет к потолку новую люстру, присоеди-

няет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем, лампочки сияют в матовой оправе люстры, тихо бренчат стеклянные висяюльки... Потом они вбивают гвозди.

Мама расстраивается из-за холодильника, ей обещали его достать, но вот не выходит, расстраивается из-за каких-то покрывал, и он удивляется — какая она стала! Всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается.

— Ты это зря, — объясняет он маме. — Тебе волноваться нельзя.

— Верно, — соглашается мама.

Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распашонками, простынками, чепчиками. Сережу удивляет, что все это имущество такое крохотное, простынки, к примеру, чуть больше носового платка.

Мама тихонько бубнит под нос песенки, улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Сережа испуганно спрашивает:

— Что с тобой?

— Ничего, — загадочно говорит мама, радостно смотрит на Сережу и зовет: — Хочешь малышку послушать?

Ничего не понимая, Сережа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову.

Сережа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, бьется мамино сердце. И вдруг кто-то ворохается там. Кто-то тукает.

Мама вздрагивает и смеется.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### РОДСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА

#### 1

И вот настает пора.

Никодим бежит на улицу ловить такси. Сережа подает маме шубу.

В мохнатенькой старой шубке мама как колобок.

Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается, и Олег Андреевич с Котькой тоже дома. Машина набивается битком, водитель ворчит, но все же везет.

В больнице, в приемном покое, когда они входят, становится тесно и весело. Мама шутит, смеется, целует всех по очереди.

— Ни пуха ни пера, Аннушка, — говорит ей тетя Нина.

— К черту, — смеется мама, ненадолго уходит, потом появляется новая: в больничном халате с широкими рукавами. Она отдает узел с одеждой. Опять смеется:

— Платье-то принесите поуже!

Тетя Нина смотрит на нее зачарованно.

— Не боишься? — говорит она.

— Нет! — беспечно отвечает мама.

Она чмокает всех в последний раз, идет к двери, распахивает ее, машет оттуда рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко.

— Ну что ты, мам, — отбивается Сережа, — ну, что ты!

Он с силой освобождается из ее объятий, делает шаг назад, улыбается.

— Возвращайся скорей! — говорит он приветливо. — Рожай, кого хочешь, и поскорей обратно!

Мама кивает, губы у нее дрожат, но она встряхивает головой, закрывает за собой дверь.

Открывает ее снова. Выражение у нее деловитое.

— Никодим, — говорит она, — маму не забудьте вызвать. И кроватку купи.

Компания вываливает на улицу, топчется на снегу. Наконец все видят маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами.

Четвертая палата, ясно. Они машут ей, Котька даже обеими руками. Потом медленно идут, оглядываясь.

На углу все оборачиваются в последний раз, опять сигналият маме, потом больницу скрывают другие дома.

Сережа вздыхает облегченно. Ну что ж, это на несколько дней. Скоро мама вернется с братиком или сестрой, надо вот только купить кроватку.

Взрослые вместе с Котькой идут впереди. Сережа замедляет шаг. В нем возникает странное желание: быстро добежать до угла и посмотреть, стоит ли мама возле окна.

Он оборачивается, мчится назад. Возле угла, скрывающего больницу, замедляет шаги, высовывается осторожно. Выходит весь.

Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой — быстро, отчаянно, будто стоит на пароходе, который отплывает.

Сережа прикладывает ладонь к губам, целует ее, поворачивает ладонь к маме и дует. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве.

Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно, догонять остальных.

Взрослые говорят о кроватке, обсуждают, где ее купить, оказывается, это непросто, тетя Нина предлагает зайти в «Детский мир», кроваток там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец — все-таки теледиктор, — выясняет, что и почему, просит минуточку подождать, куда-то исчезает.

— Слушай, — смущенно говорит Олег Андреевич, — мы с Котькой отойдем, пожалуй. Неудобно.

Тетя Нина смеется, отвечает ему шутливо:

— Эх ты, угрозыск! А кроватку сыскать не можешь! То, что не

способен сделать страх, делает любовь!

Олег Андреевич машет рукой, отходит, продавец выволакивает деревянную, закутанную бумагой кровать, Никодим бежит платить в кассу, на продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя; но продавец отвечает:

— По заказу, граждане, не шумите. Диктора Воробьеву знаете? По радио говорит. Так это ей. Сегодня родила.

Никого мама еще не родила, и вообще как-то все выходит неудобно, но в глубине души Сережа доволен. Во-первых, кровать все-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать: знать не знаем никакого диктора. Значит, знают. И тетю Нину сразу рассмотрели. Больше даже не ворчали, значит, все в порядке.

Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим домой. Олега Андреевича и Котьку они не отпускают. Пьют чай. Смотрят по телевизору на тетю Нину.

— Хорошо, что у меня мама в телевизоре служит, — говорит глубококомысленно Котька. — Сама на работе, а все равно дома.

Они смеются.

— Сегодня у нас мужская компания, — говорит Олег Андреевич. — Прямо клуб джентльменов... Интересно, укрепит наш клуб Аня? Или поможет женской фракции?

— Пусть женской, — говорит Сережа. — Не жалко. Нас и так вон сколько! — Но выражение «Клуб джентльменов» ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами, это известно. Но у них-то? У них — все. Котька вот, к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ! Олег Андреевич — угрозыск. Кому джентльменом быть, как не ему? Нико-

дим? Подумав, Сережа присоединяет и Никодима к джентльменам. Конечно, как же еще! И поздно вечером вспоминает об этом.

Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и подав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал смущаясь:

— Помнишь, Сережа, я тебе на аэродроме сказал? — Сережа молчит. Что за вопрос? Конечно помнит. — Давай так договоримся. Когда мы маленького регистрировать понесем, и с тобой все устроим.

Сережа кивает. Он согласен, что ж. Одно только кажется ему странным — почему так долго Никодим не говорил ничего? Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала. Ведь она должна была сказать?

«Может, Никодим маме не говорил?» — думает Сережа. Потом догадывается: конечно, не говорил. Он маме приятный сюрприз готовит.

Сережа кивает Никодиму, улыбается ему. Настоящий джентльмен, думает он.

Он представляет, как будет звать Никодима.

Папа? Отец?

Представить это Сереже трудно, никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее, в воображении — любой летчик в воображении был отцом. Тут же надо было назвать этим именем Никодима.

Погасив свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама — это будет, наверное, через неделю, как закутают они маленького в теплое голубое одеяло с кружевным пододеяльником из приданого, которое приготовила ему мама, как они поедут в загс, где все про людей записывают, как вернутся оттуда уже совсем новые.

Все — новые. И мама — у нее теперь два ребенка, и Никодим —

он станет отцом двоих детей, и Сережа, потому что у него будет отец. И, естественно, маленький — кто там появится, все равно, мальчик или девочка. Он тоже новый. Самый новый. Потому что недавно родился на свет.

Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свищет пурга.

Он одевается. Март. Мартовские метели. Но ничего! Скоро опять каникулы. Весна!

В школу Сережа приходит с красным лицом — оно иссечено ветром и снегом. Но настроение у него прекрасное. Бодрость и легкость в голове. Ему хочется всем рассказывать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму.

Он встречается в коридоре Ваську.

— Галь,— шепчет он восторженно,— вчера маму рожать отвезли.

— Поздравляю! — говорит Галья.— Кого загадал?

— Все равно,— отвечает, смеясь, Сережка,— кто будет!

Начинается урок, а Сережа все никак успокоиться не может. Шепчется с Понтей. Сосед тычет его локтем. Хвалит:

— Молоток!

Будто Сережа отличился, а не мама.

Уроки идут, сменяя друг друга, тягуче тянется время. Сереже хочется, чтобы скорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому ее узнать...

Последний урок литературы, и Сережа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой: знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Сережин братец для Литературы — не чужой, внук.

Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвивая снег, носится ветер, и слышит стук.

Стучат в классную дверь. Класс с любопытством настораживается. Кто-то хихикает. Вероника Макаровна, ковыляя на каблуках, открывает дверь.

— В чем дело? — говорит она строго и отступает.

В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шушукаются.

Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит:

— Идем! Скорее идем!

Сережа хватает портфель, думает радостно: кто все-таки? Мальчик? Девочка?

И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое. И белые губы.

— Сережа! — говорит она, и слезы катятся у нее по щекам. В классе повисает тишина. Все поражены. Еще бы! Вдруг приходит известный диктор и плачет.

— Сережа! — говорит тетя Нина.— Мама умерла!

## 2

Он бежит по улице.

Он бежит без шапки и без пальто.

Ветер рвется ему навстречу, швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Ветер старается остановить его, но он бежит, напрягая все силы.

В голове гулко тукает кровь. Он устал. В глазах мелькают розовые кружочки. Со лба катится липкий пот. Сережа не видит перед собой ничего — прохожие уступают ему дорогу.

Неподалеку от больницы его настигает чья-то рука. Какой-то мужчина втаскивает его в машину. Сергей не может ничего понять. В машине оказывается тетя Нина, она силой натягивает на него пальто и шапку. Сережа видит перед собой милиционерскую шинель. Человек, который втаскивал его в машину, милиционер, Олег Андреевич.

Сережа с хрипом хватается за воздух.

Он ни о чем не думает. Ничего не понимает. Ему кажется, что машина идет тихо, он пробует растворить дверцу и выпрыгнуть на ходу. Тетя Нина повисает на нем.

Он сдается:

Машина тормозит.

Сережа вываливается в снег, вскакивает и, ничего не понимая, бежит к окну.

К тому, где вчера стояла мама.

Он с надеждой смотрит на окно.

Потом кричит изо всех сил:

— Мама! Мама! Мама! Мама!

Он кричит отчаянно, словно тонет, и от этого крика в глазах появляются слезы. Он не плакал до сих пор. Крик помог ему заплакать.

Он плачет и кричит, кричит и плачет. Слезы — это ничего, мелькает в голове, главное, чтоб мама... Чтоб она показалась.

У окна, где вчера она стояла, собираются женщины в таких же халатах, как мама. Сережа вглядывается в лица. Мамы среди них нет. Женщины мгновенно исчезают.

Сережу тянут куда-то.

Он оборачивается.

Олег Андреевич ведет его за собой.

Они обходят больницу, толкают маленькую дверь, ведущую в подвал.

На них смотрят какие-то люди.

Они одеты в белое, Сережа понимает только это.

Олег Андреевич шагает дальше, открывает какую-то дверцу.

Сережа видит Никодима, тетю Нину.

Они расступаются. Сережа не понимает...

Сережа смотрит перед собой и не понимает. Мама лежит, сложив на груди руки.

Он смеется. Ерундовину тут все говорят. Она уснула. Сейчас проснется.

— Мама, — зовет он, падает на колени, хватая ее руку, чтобы очнуться, и вдруг чувствует, как независимо от него, из самого нутра, оттуда, что он еще никогда не чувствовал и не ощущал, поднимается хриплый вой.

Его берут под руки, ему дают что-то попить, но он ничего не видит, кроме маминого пожелтевшего лица.

Он рвется к ней.

Его отпускают.

Сережа разглядывает маму. Она похудела, щеки слегка провалились, а морщинки на лбу разгладились.

Осторожно, боясь сделать ей больно, Сережа гладит мамино лицо.

Он смотрит на нее бесконечно долго. В ушах нарастает тонкий звон...

У больницы толпятся люди.

Его трогают за руки, за плечи, что-то говорят. Сережа отмечает знакомые лица — Гали, Литературы, Понти, но тут же забывает о них.

Потом он видит бабушку. Она стоит одна. Руки ее повисли.

Сережа приближается к ней.

Они глядят друг на друга равнодушно и пусто.

Бабушка качает головой и говорит:

— Вот вы меня к чему вызывали... Вот к какому празднику...

Сережа идет мимо нее. Его сажут в машину, везут домой.

В квартире полно каких-то людей. Бабушка открывает шкаф, перебирает мамину одежду. Ей молча помогает тетя Нина. Сережа не понимает, чего они хотят, его возмущает, что они копаются в чужих вещах, он отодвигает тетю Нину, пробует закрыть шкаф, но Олег Андреевич сильно сжимает плечо, уводит в сторону.

Сережа стоит. Потом сидит. Потом ходит. Снова сидит. Идет вместе с бабушкой к больнице. Передает

какой-то узел. Возвращается обратно. Снова стоит. Ходит. Сидит.

Перед ним ставят тарелку с едой. Он с удивлением разглядывает ее. Ковыряет еду вилкой, встает.

Постепенно в квартире становится тише. Уходят незнакомые люди. Уходит тетя Нина.

Олег Андреевич еще сидит. Он сидит рядом с Никодимом, перед ними пустые бутылки. Бабушка приносит еще одну. Олег Андреевич встает из-за стола. Ему тоже надо идти.

Теперь они втроем.

Никодим, бабушка, Сережа.

Бабушка велит Сереже спать, он качает головой, но глаза слипаются. Он проваливается в черноту.

Он проваливается с готовностью, с облегчением.

Он тоже хочет умереть...

Дни похожи на мелькающие вагоны.словно Сережа стоит на платформе, а перед ним мчится поезд. Вагоны сливаются в сплошную полосу. Сережа пробует схватить взглядом какое-нибудь окно, видит в нем чье-то лицо, поворачивает быстро голову, чтобы запечатлеть, запомнить его, но вагон уже уносится, и в памяти остается только слабый силуэт... А вагоны мчатся, мчатся. Пронесются чьи-то летящие лица, и от этого мелькания, от этого стремительного бега голова идет кругом. Сережа чувствует, как слабость наливается в колени, ноги подкашиваются...

Он сидит... Возле гроба — ряд стульев. Бабушка. Никодим. Тетя Нина. Он.

Мимо мамы проходят люди. Вереница людей. Они идут, идут, идут. Иногда Сережа смотрит на них. Сколько людей знало маму, думает он. Люди идут — это похоронная процессия. Теперь по улицам за гробом не ходят. Все, кто хочет проводить, сядут в автобус и молча

уедут. Процессия — здесь. Возле гроба.

Вереница лиц в окнах летящего поезда...

В зал входят люди с трубами.

Играет музыка: чухают медные тарелки в такт с барабаном, стонет труба. Каждый удар медных тарелок — как электрическое замыкание: сотрясает все тело.

Мама лежит в гробу торжественная, нарядная. И чужая. Это уже не мама. Это только копия мамы. Неживое подобие.

Сережин мозг выхватывает силуэты.

Какая-то старуха, пройдя мимо мамы, останавливается, низко, в пояс кланяется гробу...

Женщина с трясущимися губами кусает платок. Это тетя Дуся, узнает он, вахтерша...

Олег Андреевич, кладущий в ноги красные-красные, как кровь, тюльпаны...

Сосредоточенное, вспотевшее лицо музыканта с трубой. Щеки у него раздуты, словно шары...

Круглые, непонимающие Коткины глаза.

Никодим...

У Никодима потерянное лицо. Он ищет кого-то взглядом, глаза его мечутся, неловко вытирает слезы кулаком... Сзади него стоит Литература. Она гладит Никодима по плечам...

Улица. Распахнутые настежь двери. Еловые венки с черно-красными лентами. Автобус с траурной полосой. Еще автобус. Машины.

Пурга кончилась. В окно между тучами выглянуло солнце. Рыхлый снег на кладбище слепит глаза. Сережа идет по нему, проваливаясь по колено.

Какой-то человек говорит речь. Его покорно слушают. Только сзади, за толпой, глухо разговаривают могильщики, курят и сдержанно



посмеиваются о чем-то своем. Привыкли...

И вдруг Сережа видит Никодима. Он спрятался за мать, снял один ботинок и, припрыгивая, вытряхивает из него снег. Вытряхивает снег...

— Пойдем! — говорит бабушка Сереже, но он не понимает — куда пойдем.

Бабушка берет его за плечи, подводит к гробу. Бросается на маму, обхватывает гроб.

Сережа смотрит на бабушку тупым взором, жалеет ее. Что ты плачешь, старая, думает он. Это же не мама, все равно. Бабушка поднимается с земли, настает Сережина очередь.

Он становится на колени, целует маму в лоб. Задумчиво разглядывает ее. Целует руки.

— В последний раз! В последний раз! — шепчет за спиной кто-то. Сережа оглядывается. Тетя Нина. И тут он понимает: в последний раз! Он больше не увидит маму! Никогда!

Сережа смотрит на маму. Хочет запомнить навсегда. И не может, нет. Он видит истрадавшееся это лицо, а представляет другое — смеющееся. На голове — зеленый мохнатый берет с помпошечкой. Мама как медвежонок в старой своей шубке. Круглая вся. Вот озабоченно говорит: «Вызови маму! И купите кровать!» Вот стоит у окна в больничном халате и посылает Сереже воздушный поцелуй.

Чем лучше представляет Сережа маму живую, тем неестественнее кажется она мертвая! Их нельзя соединить! Невозможно!

Но соединить нужно. Все заставляют его сделать это.

Сережа содрогается.

Нет! Этого не может быть! Не может быть, что мама смеющаяся и лежащая тут — одна и та же.

Он безудержно плачет. Его трясет.

Гремит оркестр, жутко чухая медными тарелками.

Кладбище отодвигается, подпрыгивает в заднем оконце автобуса. Скрывается за поворотом.

Потом какая-то столовая.

Какие-то люди, говорящие о маме.

Потом дом.

Лица родственников из деревни, опоздавших приехать на похороны.

Лицо тракториста Валентина.

Лицо Кольки. Вот и приехал.

Люди что-то говорят, какие-то слова. Колька ведет Сережу на улицу. Они разговаривают. Скоро возвращаются. Дома — табачный дым, окурки. На столе тарелки, от которых мутит.

Испуганные глаза Вероники Марковны. Растерянный Никодим.

Никодим! Он разглядывает Никодима, разглядывает его красные уши, похожие на лопухи, его невзрачное серое лицо, и новая мысль обжигает Сережу. Конечно! Во всем виноват Никодим!

Если бы не он, мама не вышла бы замуж. Не собралась рожать.

Если бы не он, мама бы жила.

Шаг за шагом, день за днем Сережа припоминает все, как было.

Приезд Никодима. Мамино решение. Разговор с Васькой. Свадебное путешествие. День рождения. Аэродром.

Да пропади все пропадом! Провались в тартарары!

Пусть бы мама смолила папирсы, говорила грубо! Пусть бы жили они в старой комнате. Пусть была бы она несчастливая, только жила! Жила, а не умирала!

И Сережа с ненавистью глядит в сторону Никодима.

Наутро бабушка куда-то собирается. Зовет с собой Сережу.

— Младенца-то проведать надо,— говорит она.

Младенца? Только теперь доходит до него это. Мама родила мальчика. Она умерла, когда его рожала.

Сереза мотает головой. На что ему этот младенец? Пропали он пропадом. Из-за него мамы нет.

Но тут же встает, одевается. Идет скорбно рядом с бабушкой.

При чем тут младенец? Он даже не соображает ничего, такой малюсенький.

Сереза вспоминает, как мечтал о брате, когда возвращался с Котью в троллейбусе. Как увлекла его мама разговорами про брата или сестру. Как хотела она еще ребенка.

В больнице бабушка теряется, суется в разные двери, но все не в те.

— Как про ребеночка бы узнать?— ловит она санитарку.

Санитарка останавливается, расспрашивает подробнее, потом исчезает, выводит врача. Врач — женщина. Полная, веснушчатая, добрая, с толстыми руками.

— Ребеночек живой,— говорит она, рассказывает подробности про вес, про рост.

— Дак как кормите? — пригорюнившись, спрашивала бабушка.— Без матери-то.

— Кормим,— говорит врач,— у нас возможности есть. Но без матери плохо.

— Уж куда там,— вздыхает бабушка.

Врач спрашивает про Никодима, узнает, что Сереза — старший мамин сын, что бабушка — мамина мама и никого ближе больше у покойницы не было.

— Может, еще повезет вам,— говорит она, поднимаясь,— может, ребеночек не выживет.

— Хорошо бы,— отвечает ей бабушка и плачет.

— Как хорошо?— не понимает Сереза, когда они обратно домой

идут, и возмущается:— Что говоришь, думаешь?

— Думаю,— отвечает бабушка,— хватит одного тебя, сиротинки. Да ты — большой, сознательный. Младенца-то ведь выкормить сперва надо, выходить, потом воспитать. Кому это делать? Никодиму? Да разве ж сподручно ему, нестарому мужчине, с младенцем? Я одной ногой в могиле...

Бабушка плачет, сморкается, приговаривает:

— Разве ж это дело, чтоб дети раньше родителей помирали?

— Я его выращу,— говорит Сереза о брате.— А что, устроюсь на завод, заработаю...

— И-и-эх, милый!— говорит бабушка и машет рукой.— Дай бог тебе самому без мамки ладом дорасти!

Сереза молчит, не согласен.

На другой день он идет в больницу, вызывает толстую врачиху, спрашивается про брата.

— Живой,— говорит она и спрашивает неожиданно:— А где же отец?

Сереза молчит, не знает, как ответить. Потом говорит:

— Он болен.

— Понятно,— вздыхает врачиха, смотрит на туфли.— Передай, что пока живой.

Вечером он говорит про маленького Никодиму.

Тот глядит на Серезу бесцветными глазами и ничего не понимает. Он как бы одеревенел после маминой смерти. Словно задумался о чем-то и от этой мысли оторваться не может — загнипнотизировала она его. Он то и дело плачет. Вдруг прокатится по щеке слеза, сомкнутся губы в некрасивую гримасу. Сереза смотрит на него безразлично, говорит про маленького его сына, но Никодим ничего не может придумать.

— Не знаю,— хрипло говорит он,— не знаю... Надо кормилицу искать. Или что?

Сереза не знает, какую кормилицу. Бабушка крестится в угол и молчит. От Никодима больше ничего не добьешься. Он окаменело сидит в углу, бессмысленно уперев взгляд в пол. Замер. Ни действовать, ни думать не способен.

А Сереза ходит каждый день в больницу. Каждый день вызывает врачу. Каждый раз узнает, что брат жив.

Надо ведь, соображает Сереза, придумать ему имя. Время идет...

Заботы о брате постепенно занимают Серезу. Это единственное, что хоть как-то заполняет в нем безмерную пустоту.

Ожидая в больнице веснушчатую врачу, Сереза тупо разглядывает картинки на стенах. Слушая разговоры женщин, сидящих в вестибюле, он стал смотреть на картинки. Потом прочитал их все, и не по одному разу.

В таблицах давались пояснения, как обращаться с новорожденными — как купать, чем кормить, как закаливать младенцев. Сереза выучил наставления едва ли не наизусть, узнал из женских разговоров, что в городе есть несколько детских консультаций и при них молочные кухни, где новорожденным дают питание.

В школе — с того зловещего, вьюжного дня — он не появлялся. Сначала никто и не посылал, а потом не мог. Он уходил из дому с портфелем, заходил в больницу, потом сидел где-нибудь в кино, едва понимая, что происходит на экране. После кино слонялся по городу, наматывал километров по пятнадцать, не меньше. Это выручало: он приходил домой, ел и сидя засыпал от усталости. Когда узнал про консультации и кухни, стал обходить

улицу за улицей, читая вывески. Можно было бы просто спросить, но он, ничего не спрашивая, разыскал нужные ему места, выбирал про себя то, что поближе.

Вероника Макаровна бывает у них иногда. Но чаще Никодим у нее. Всякий раз, когда учительница видит Серезу, она вкрадчиво говорит ему про школу.

— Горю не поможешь,— негромко внушает она.— Ты должен быть сильным. Пора закончить это самоистязание.

Сереза ей не отвечает, молчит. И что ответить — не может он в школу идти, и все, хотя правильно говорит, наверное, Вероника Макаровна, слишком правильно. Особенно про малыша.

— Я тоже была там,— рассказывает она.— Но чем я могу помочь ему, чем? И чем ты ему можешь помочь? Его мама спасти могла бы, только одна она...

«Это верно,— думает Сереза,— ничем он не может помочь брату, но все равно, все равно...»

Утром встал — в больницу: «Жив?» — «Жив!» Потом по городу версты наматывать, потом домой, чтобы кулем свалиться на диван.

Да, две недели полных прошло, как Сереза из школы, не помня себя, выбежал.

Две недели. Галя каждый вечер приходит. Веронику Макаровну повторяет — в школу зовет. Но он не может. Не может, и все тут.

Сереза обрывает листок в календарике. Одевается.

— Ну?— испуганно спрашивает бабушка.— Пошел? С богом! Ты хоть там,— где там, не знает, голос ее растерянным становится,— бутерброд съешь. В портфель положила.

Сереза кивает.

— Готовь лучше приданое,— говорит он.— Скоро братана забирать будем.— Идет к порогу, потом, оза-

боченный, возвращается.— Ванночка есть?— спрашивает и спохватывается:— Сегодня поглядеть надо, где ванночки продают.

Он идет проторенной дорогой в больницу. Думает о том, что после ванночки придется покупать коляску. Еще погремушки. Это купит сам. Выберет, которые поярче. Заботы о брате вызывают тихую улыбку. Сережа улыбается и сам не понимает, что улыбается первый раз за две недели...

В больнице ждать приходится долго. Веснушчатая врачиха на обходе, смотрит, наверное, этих голопузиков, и он опять сидит.

Наконец она приходит, садится рядом с Сережей. Разглядывает его внимательно.

— Какой же ты хороший человек, — говорит она серьезно, — так заботишься о ребенке.

— Он болеет, — снова объясняет Сережа и кивает в сторону головой, — он в себя прийти никак не может, бабушка старая, да ей уезжать пора, а мне все равно делать нечего.

— Вот как, — говорит врачиха, разглядывая ноги. — Скажи все же отцу, чтобы пришел.

— Не может он, — упорствует Сережа, — совсем потерялся. Как маленький. Плачет. Боюсь, как бы чего не случилось:

— Ты правду мне говоришь? — недоверчиво спрашивает врачиха. Сережа усердно кивает. — Ну вот... — мнется она, — тогда пока ему не рассказывай. Бабушке скажи... Скажи, маленький умер.

Сережа медленно оборачивается к ней.

— Как? — не понимает он. — Почему умер?

— Мама твоя... Одним словом, он слабенький был... Да еще без нее остался...

Сережа разглядывает веснушча-

тое лицо врачихи и говорит невпопад:

— А мы кроватку достали...

Врачиха берет его за руку, гладит по голове, он шагает к выходу, забыв попрощаться.

Брат умер...

И брат умер...

Он его никогда не видел и не может сказать поэтому, любит его или нет. Но это маленькое незнакомое существо имело отношение к нему. У них была одна мама. Мама нет, ее не стало, но существо, рожденное ею, осталось и было его братом. Было, может, последним, что связывало с мамой.

И вот его нет. Можно считать, и не было. И, выходит, мама умерла зря.

Сережа идет с трудом — мешают слезы. Он заходит в какой-то подъезд, прячется за дверь, в угол, и плачет, плачет навзрыд.

Сзади раздаются шаги.

— Эй ты! — произносит старческий голос. — Чего тут делаешь? Ну-ка иди... — Сережа выскакивает из подъезда.

Он идет быстро. Он спешит. Он не был там целую вечность. И сейчас идет не для того, чтобы заняться моделью.

В кружке на него глядят вопросительно. Работает новая группа, и его не знают. Сережа идет в столярку. Просит материал, объясняет. Руководитель у столяров — старик усач, Сережа знает его, и он знает Сережу — материалы дает.

Испарина выступает на лбу. Сережа старательно строгаёт доски. Сколачивает ящик. Выходит слегка неуклюже, но что делать. Потом крадет ящик марганцовкой, взятой в фотокружке. Несет под мышкой в больницу. Ящик небольшой, но руки оттягивает — не очень сухой материал.

Веснушчатая докторша смотрит на Сережу, ничего не понимая.

— Вот, сколотил,— говорит он подавленно,— сам, поскорей.

— Гроб?— догадывается врачаха, и Сережа кивает.— Мальчик!— говорит она.— Мальчик! Это же очень большой,— но спохватывается.— Ты зря, зря,— говорит она,— мы хороним сами таких маленьких. Понимаешь, сами. Ничего не нужно, пусть только потом придет отец. Когда поправится...

Сережа выходит из больницы с ящиком. Приходит с ним домой.

— Что за чемодан?— спрашивает бабушка.

— Младенец помер,— деловито отвечает Сережа и смотрит на бабушку взрослыми глазами.

4

Перед бабушкиным отъездом Сережа возвращается в школу. Ребята смотрят на него, как на новенького. Да ведь так оно и есть, если подумать. Он теперь совсем иной, чем прежде.

В классе Сережа сидит тихо, не шелохнется. Но мало что слышит. Отвечает вяло, честно говоря,— просто плохо. Но учителя его жалуют, ставят тройки. Кроме Литературы. Вероника Макаровна вызывает его часто, задает легкие вопросы, самые легчайшие, не дает до конца ответить, кивает одобрительно, ставит пятерки и четверки.

«Хочет подбодрить,— думает Сережа,— нашла способ!..» Ему эти отметки безразличны, как безразлично все. Почти все.

Он смотрит на Ваську. Ждет, когда она обернется. Грустно улыбается ей, ни на кого не обращая внимания.

Сережа ведь и на Галю теперь по-новому смотрит. По-другому видит ее.

Ему кажется, во всем классе ребята как ребята, кроме них с Галей. Остальные — школьники семиклассники, пацанва, а Галя и он — взрослые люди. Им бы не в школе сидеть, на заводе работать, быть вместе с большими, потому что с ребятами им уже неинтересно. Но делать нечего — приходится учиться.

В школу Сережа вернулся из-за Галя. Только из-за нее. Она пришла к ним вечером, после смерти братишки, и вызвала Сережу на лестницу.

Васькины зрачки были расширены, от этого глаза ее казались черными, гипнотизирующими, решительными. Но смотрела она не на Сережу, а куда-то в сторону. И синяя жилка вздрагивала на шее.

— Сережа,— неожиданно сказала она,— поцелуй меня.

— Зачем?— ошарашенно спросил Сережа.

— Поцелуй,— снова велела Галя.

Он наклонился к ней, прикоснулся пересохшими губами к щеке.

— Не так!— сказала Галя.— Как взрослые...

Брякнула дверь, по лестнице кто-то шел. Они отпрянули друг от друга, отвернулись к перилам. Пока, насвистывая, прохожий шагал сзади них, сердце у Сережи раскачалось, как маятник.

— Ну,— обернулась Галя, когда шаги стихли.

— Чего ты придумала?— спросил он дрогнувшим голосом.

Сережа разглядывал Галю — ее застывшее от напряжения лицо и влажный лоб.

— Молчи!— сказала Галя, с силой зажмурила глаза и придвинулась к Сереже.

Он прикоснулся губами к ее губам, это вышло неуклюже, странно. Галя оттолкнула его и побежала вниз. Сережа кинулся домой, схва-

тил пальто, помчался за ней и едва догнал задыхаясь.

Они пошли рядом.

— Ты что? — спросил он, потрясенный.

— Не думай, — сказала Галя, глядя в сторону, — я тоже знаю. «Не отдавай поцелуя без любви». — Она остановилась, сказала горячо: — Но тебя надо встряхнуть, понимаешь! Тебя надо оживить, а то ты тоже умер...

Он заморгал часто-часто и ничего не сказал ей. А наутро пришел в школу.

— Кто тебя научил? — спросил он ее потом.

— Никто, — ответила Галя. — Сама.

Он разглядывал ее посреди уроков, смотрел удивленно потом, когда шли они вместе из школы, поражался: как сумела она это придумать?

Сережа разглядывал себя как бы со стороны. Жизнь казалась ему тоскливой и серой, и только Галя в этой жизни была исключением.

Он в самом деле оживал... Когда серое, дождливое небо разрезает голубая чистая полоска, человек смотрит именно на нее — уж так он устроен. И тучи расходятся. Так должно быть, потому что этого ждешь. Не вечно же лить дождю...

После Майских, когда отметили сорок дней с маминой смерти, бабушка уехала в деревню. На каникулы Сережа должен был приехать к ней, а дальше...

Загадывать надолго никто не хотел, и что будет дальше — об этом не говорили. Бабушка считала — неудобно, надо подождать малость, пока Никодим отойдет. Никодим же молчал.

Никодим вообще вел себя странно.

То он замирал на целый вечер, уставясь в телевизор, и слезно не замечал Сережу. То вдруг приносил

охапку подарков — книги, сласти, пакеты с коллекционными марками — и весь вечер тараторил без умолку, говоря всякую пустяковину и ерунду. То исчезал дня на два, на три, говорил, пряча глаза, что ночует у матери, и Сережа хозяйничал в доме один: жарил себе яичницу, кишил чай, мыл потом посуду.

К нему часто приходила тетя Нина, всегда с какой-нибудь едой — то покупала шашлыки в кулинарии или блинчики или приносила торт. Приходила и толстуха с звукооператором Виктором Петровичем, приходили еще какие-то люди, знавшие маму. После них всегда оставались кульки, свертки — Сережа не отказывался от подарков. Он понимал — иначе они обидятся, они знали маму, и эти подарки как бы для нее.

Однажды вечером, когда Никодима не было, в дверь позвонили. Сережа открыл. Вошли какие-то незнакомые люди, он решил, что опять мамины знакомые, пригласил пройти.

Люди — их было трое, две женщины и старик — внимательно оглядели квартиру: прошли по комнатам, заглянули в кухню. Потом в ванную, в туалет.

Сережа разглядывал их удивленно, мамины знакомые так себя не вели.

— А взрослые когда будут? — спросил старик.

Сережа пожал плечами.

— Ну а у нас, — сказала одна женщина, — однокомнатная и комната. Площадь примерно равная.

Сережа глядел на них непонимающе, никак не мог в толк взять, о чем они.

Старик заметил это.

— Мы по объявлению, — сказал он и назвал адрес. — Эта квартира?

— Эта, — не понял Сережа. — По какому объявлению?

— Объявление на столбе висит: меняю двухкомнатную квартиру на однокомнатную и комнату.

— Это какая-то ошибка, — рассмеялся Сережа. — Мы ничего не меняем. Кто-нибудь пошутит.

— Хороши шутки! — ворчал старик, притворяя за собой дверь.

«Кому в голову такая глупость пришла?» — подумал Сережа и, когда появился Никодим, рассказал ему о странных посетителях.

— Уже приходили? — рассеянно спросил Никодим.

Сережа обмер. Не может быть! Так, значит, это Никодим? Никодим...

Он не верит этому, не верит, что Никодим способен вот так, вдруг...

Ему кажется, миллион лет прошло с тех пор, как мама карточку Никодима порвала. Миллион лет назад он ненавидел его, не хотел, ни за что не хотел, чтобы вдруг стал этот чужой человек маминым мужем. Но потом все как бы переменялось. И это свадебное путешествие. И вся эта жизнь вместе. Он хорошо относился к Никодиму, тот нравился ему...

Но что же случилось? Он думал, так и останется навсегда? Даже после маминой смерти?

Сережу пробирает озноб.

— Поговорим? — предлагает Никодим и усаживается на стул. Глаза у него бегают. От страха? От стыда?

Чего же стыдиться? Кто теперь Никодим Сереже? Никто. Мама их связывала, разве не ясно? Теперь мамы нет. Вот и все. Очень просто.

— Поговорим, — отвечает Сережа с трудом. А сам смотрит мимо Никодима, в зеркало. Разглядывает сам себя.

Обтянутые кожей скулы, прямой и широкий нос, мамины глаза. И вдруг плечи вздрагивают.

Будто стоял он на краю обрыва, подошел к нему кто-то сзади неза-

метно и толкнул. И вот летит с обрыва. Летит и не знает, что с ним будет. Не знает, как жить, что делать...

— Понимаешь, Сергей, — говорит Никодим с трудом, — теперь уж ничего не выйдет. — О чем он? — Помнишь, я про загс говорил? — Лицо его покрывается пятнами.

— Помню, — говорит Сережа спокойно. — Но вы не краснейте. Это я понимаю.

— Ты меня никогда не простишь, я знаю, — он потухает, опускает плечи. — Я не простил бы тоже на твоём месте. Но жизнь сильнее нас.

Сережа кивает задумчиво. Да, жизнь сильнее нас. А особенно смерть. Она всех меняет. Хороших делает подлецами. Впрочем, хороших ли? Может, они всегда подлецами оставались, только рядом с хорошим это было незаметно.

— Когда ты вырастешь, — говорит Никодим, — и к тебе придет житейская мудрость, ты поймешь... Нам надо разъехаться сейчас. Разделить квартиру. Я ведь еще не старый, хочу устроить свою жизнь.

— Только в следующий раз, — горько говорит ему Сережа, — выберите жену помоложе. И чтоб ребенка у нее не было.

Он видит, как замирает взгляд Никодима.

— Я буду тебе помогать, — говорит Никодим. — Мы будем часто встречаться... Ходить в кино... В кафе-мороженое...

В Сереже будто работает странный выключатель. Он то верит в происходящее, думает, что Никодима нельзя осуждать. — размышляет, как равнодушный старик, — то не верит. Не может поверить, что это все Никодим говорит. Что это он такое придумал. «Щелк-щелк», — работает выключатель, и глаза Сережины то расширяются от непонимания и обиды, то смотрят равнодушно и пусто.

Никодим встает. Торопливо, суетясь, накидывает плащ, объясняет:

— Бабушке я уже написал, она согласна и скоро приедет. За мебель тете Нине деньги отдам я, тоже не волнуйся. Но мебель ты можешь взять любую, хоть всю, понимаешь меня?

— Вот бы, — произносит медленно Сережа, — вот бы мама на вас теперь посмотрела.

Руки у него трясутся, чуть дрожат.

— И еще, Сережа, — говорит Никодим, пряча глаза. — Еще вот что... Понимаешь... как бы сказать. — Он мямлит, топчется, чего-то хочет пояснить, но чего? Чего еще объяснять. — Вот что, Сережа, — говорит он, — моя мать, ну, Вероника Макаровна, она тут ни при чем, она меня даже осуждает, но я не хочу, понимаешь, чтобы ее имя... В общем, не говори в школе, ведь мы должны остаться друзьями, верно?

— Конечно, друзьями, — отвечает сдавленно Сережа. — А как же иначе, только друзьями.

Никодим нерешительно топчется в прихожей, словно хочет что-то сказать, пятится к двери, приоткрывает узкую щель, подобострастно улыбаясь Сереже, пролезает в нее. Сережа тупо разглядывает Никодима, не в силах понять его поступков, и вдруг видит за его плечом, на лестничной клетке, знакомое лицо. Вероника Макаровна! «Чего она-то пришла? — думает Сережа. — Сыночка поддержать?» И неожиданно понимает, что Вероника Макаровна не пришла. А стоит тут давно. Что Никодим зашел к Сереже для этого объяснения, а Вероника Макаровна стояла за дверью и ждала, чем все кончится.

Глаза у Вероники Макаровны все время дергаются, смотрят нетвердо, она немного смущена, что Сережа

ее увидел. Но что-то ей еще надо. Никодим уже на лестнице, уже отвернулся, готов бежать, готов скатиться колом по лестнице, а Вероника Макаровна все еще стоит перед Сережей, переминается с ноги на ногу.

Потом говорит робко:

— Вон там, в книжном шкафу, два денежных перевода на мамино имя. Ты их получи. Это от твоего отца.

Никодим словно только и ждет этих слов. Срывается вниз по лестнице. Готов скатиться, кубарем — куда-то спешит. Литература идет за ним, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку.

Все!

Сережа закрывает дверь на запор и прислоняет голову к прохладному косяку.

Было это или не было?

Было ли?

Было!

Сережа вспоминает аэродром. Красный, как молния, самолет, падающий на них. И лицо Никодима.

Это было давно, тогда, в дни Сережиного счастья. От того времени ничего не осталось теперь. Рожки да ножки. Да слова. О какой-то еще дружбе. О мебели. О деньгах.

Медленно выплывают из памяти слова Никодима. И еще какая-то фраза.

Деньги от отца. Деньги. Еще какие-то деньги.

Он нехотя роется в книжном шкафу, находит извещения о денежных переводах. Два извещения по сорок рублей. От кого — непонятно, просто адрес и мамино имя.

Сережа мучительно соображает, как быть. Потом одевается, идет на почту — может, там известно.

Он идет неторопливо, обходит лужи. Раньше бы он прыгал через них, а теперь это кажется ему забавой для малолеток.



Высокое здание почты видно издалека — Сережа разглядывает шагающие золотистые буквы и смотрит в окна верхнего этажа. Немногие знают, что там радиостудия.

Он вспоминает прошлую весну и день, когда он пришел к маме. Где-то там стеклянное окно во всю стену, «аквариум», обшитый изнутри материей, чтобы не было резонанса. Но у микрофонов, нагнувшихся, как цветы, теперь сидит не мама, а кто-то другой, наверное, артистка из театра. Впрочем, может, читают и не они, может, маме нашли хорошую замену, это все равно. Сережа не слушает радио. Подводка в новой квартире есть, есть и динамик, но его Сережа убрал, спрятал на антресоли, в дальний угол...

Почтамент велик, Сережа не сразу разбирается, где тут выдают переводы, стоит в очереди, потом сует голову в окошко... Вот неожиданность: ему улыбается толстуха, жена звукооператора Виктора Петровича. Она скороговоркой выпрашивает Сережу про жизнь, про здоровье, про новости, сует ему конфетку, он отвечает ей односложно — разве расскажешь все! — потом протягивает талончики.

— Это маме прислали, — говорит он.

— Маме? — удивляется толстуха, разглядывая извещение. — Значит, кто-то не знает...

Она исчезает, потом появляется, говорит радостно:

— Договорилась! Деньги выдам тебе! — Но Сереже деньги не нужны, ему надо выяснить, кто послал.

На обороте корешка он читает округлые разборчивые буквы: «Деньги за апрель», «Деньги за май». В конце слов — неразборчивая закорючка, зато обратный адрес выведен ясно: улица, дом, квартира номер... Авдеев Семен Протасович.

Сережа не понимает, в чем дело, зачем эти деньги, почему? Но слова Никодима жгут его... Врет он все, сивый лопух. Назад отработал, вот и оправдывается... А сердце обрывается... Если допустить только, если представить...

Сережа идет по адресу, указанному в корешке. Быстро находит улицу, дом. У дома много подъездов, вот в этом живет Авдеев. Он медлит. На лавочке сидят пацаны. Сережа спрашивается о Семене Протасовиче.

— Да вон он идет, — говорит один мальчишка, и Сережа видит рыхлого, полного человека в очках с тонкой, поблескивающей золотом оправой. В одной руке у него толстый портфель, в другой — авоська с молоком и сырами.

— Вас разыскивают, — говорят мальчишки Авдееву.

Он внимательно разглядывает Сережу.

— Что угодно, молодой человек? — взгляд его цепок, быстр.

— Это вы, — спрашивает Сережа, — посылали деньги Воробьевой? Анне Петровне? — Он протягивает корешки.

Мгновенье Авдеев стоит застыв. Очки его поблескивают, и за ними не видно выражения глаз.

— Д-да, посылаю, — говорит он медленно, потом быстро идет в глубь двора, подальше от мальчишек, то и дело оглядываясь, кивая Сереже и приговаривая:

— Иди, иди, мальчик!

Странное поведение мужчины удивляет Сережу, но он идет следом. У детских качелей человек останавливается и спрашивает резко:

— Тебя как звать?

— Не имеет значения, — грубо говорит Сережа, — я только хочу знать, вы ли посылали эти деньги. И зачем?

— Допустим, я, — отвечает мужчина, снимая очки и протирая их.

Без очков он выглядит беспомощным, жалким. — Допустим, я, допустим, возвратил Анне Петровне долг. Что дальше?

— Тогда почему здесь написано: «Деньги за апрель», «Деньги за май»?

— Я знаю, тебя зовут Сережа, — говорит Авдеев, снова надевая очки. Лицо его становится жестким и властным. — Но почему... — Сережа не дает ему договорить.

— Это правда, что вы мой отец?

— Я знал, как это кончится, — жалуется кому-то Авдеев. — Я предупредил!

— Отец? — Сережа трясется от волнения.

— Ну раз ты догадался...

— Эти деньги вы посылали для меня?

Авдеев кивает.

— Давно?

— Всю жизнь... — Он разглядывает Сережу, едва улыбаясь. — Тебе был год, когда я видел тебя в последний раз.

«Какое мне дело, — думает Сережа, — какое дело, когда вы видели меня!..»

Его качает, его даже подташнивает. Отец... Нет, тут что-то не так. Ведь его отец летчик. Он разбился. Испытывал новый самолет, потом небо стало красным, как кровь, потом был взрыв... А тут стоит рыхлый человек с волосатыми руками и мясистым круглым лицом. Отец...

— Впрочем, — говорит Авдеев, — это сентиментальности. Наши с твоей мамой дороги давно разошлись, ты уже взрослый и сможешь понять. К тому же сейчас все проще. Я видел ее с полгода, издалека... Она, кажется, хотела подарить тебе братца, это так?

— Так, — потрясенно отвечает Сережа. — А деньги вы возьмите. — Он протягивает десятки, полученные на почте.

— Понимаю, — говорит, улыбаясь, Авдеев, — времена меняются. Ну что ж, это к лучшему. Но деньги ты отдай маме. Это мое обязательство. У нас ведь и уговор такой был, что я тебя не увижу, этого требовала Аня, ничего не попишешь.

У. Сережи кружится голова. Ужасно просто кружится.

— Берите, — говорит он, сует Авдееву деньги и поворачивается.

Он идет со двора и на полдороге останавливается. Нет, все-таки этого не может быть. Он возвращается к Авдееву.

— А вы не летчик? — говорит он с надеждой.

— Нет, инженер, — отвечает Авдеев, — на самолетах и в отпуск не летаю, боюсь!

Сережа поворачивается. Это все. Это конец.

Он идет к воротам.

— Передай привет маме! — говорит вслед Авдеев.

— Ее нет, — отвечает Сережа и резко оборачивается. Он видит толстое лицо Авдеева, губы, расплывшиеся в улыбке, стальные, цепкие, не улыбающиеся глаза. — Она умерла...

Сережа не думает, что говорит, это для него не новость. Для него новость этот отец. Как грохот пушки над самым ухом. Отец! Отец! Его отец, и Сережа не знает, как ему быть, куда ему деваться с этим отцом.

Лицо Авдеева разглаживается, от носа к краешкам губ прорезаются глубокие морщины. Потом Авдеев говорит. Что-то там говорит. До Сережи не сразу доходит смысл слов. Он кивает согласно. Но память возвращает слова, зацепившиеся за что-то. Как он сказал? Жива ли бабушка, мамина мама? Да, да, жива. Сережа понимает смысл этих слов, теперь понимает.

— Не страдайте,— говорит он.— К вам не прибегу.

— Сережа! — восклицает Авдеев.— Как ты можешь! Я всегда буду помогать тебе, давай пойдем к вам, теперь же, немедленно, я сделаю все, что надо, обстоятельства переменялись, но жизнь сложна, Сережа, судить людей нетрудно, важно их понять...

— Слушайте! — обрывает его Сережа.— Слушайте! — Он молчит, и в паузе складываются слова, последнее решение в этом обмане.— Чего вы разоряетесь? Вас же нет! Вы умерли, понимаете? Разбились на самолете.

Сережа шагает по двору, и тяжелые, будто пудовые, руки тянут вниз. Ему хочется упасть на землю, закрыть руками глаза и ничего, ничего не видеть. Все в нем вывернуто. Будто поднял его кто-то за ноги и встряхнул, так что все внутри оборвал.

В его памяти был отец. Теперь его не стало.

Умерла мама и исчез отец.

Незрячими глазами выбирает он дорогу к Галиному дому, зовет ее во двор, заводит в какой-то закуток и просит, содрогаясь от страшного, тяжелого плача:

— Васька! Галя! Поцелуй меня! Я жить не могу!..

5

День рождения...

Год прошел, и опять у Сережи день рождения. Пятнадцать... Совсем взрослый.

Сережа разглядывает Понтю и Ваську и думает, что в сравнении с ними он старик: столько всякого в эти месяцы было.

В комнатке, где живет Сережа с бабушкой после размена, тесно. Он никого не звал, но все пришли сами. Понтя и Галя — просто так,

а тетя Нина нанесла гостинцев и даже вина — легкого, красного, похожего на густой морс, и Олег Андреевич наливает на донышко чашек всем, пропуская лишь Котьку.

— Что ж, Сережа,— говорит он негромко, серьезно,— рано кончилось твое детство, рано началась взрослая жизнь. Но ты должен держаться, должен жить, должен своего добиваться — помнишь, ты же летчиком мечтал стать. Выпьем, друзья, за летчика Сергея Воробьева!

Сережа кривится. Должен, должен! Ничего он не должен. И летчиком он не будет никогда, это все обман, ложь, розовые детские туманы.

Сережа пьет вино — сладкая водичка. Она не оглушает, не отвлекает мысли.

«Что рассуждать? — думает он.— Времена меняются, как сказал его папаша Авдеев. Взгляды меняются. Мнения».

Он раньше все хорошие слова, сказанные людьми, глотал, не прожевывая, словно голодный малек. Переел, видать. Теперь от добрых слов его мутит. Даже если их Олег Андреевич говорит.

Стучат. Бабушка суетливо шаркает к двери, отворяет ее перед Литературой и Никодимом.

Сережа со стуком ставит на стол чашку. Глаза его замирают. Литература тараторит поздравления, обходит стол, хочет поцеловать Сережу в лоб, но он демонстративно уклоняется — что за фокусы! — и она целует его в затылок.

— Вот тебе подарки! — говорит Вероника Макаровна, достает из авоськи мяч, альбом для марок, боксерские перчатки.

Боже, думает Сережа, сколько истратила денег, и мысль о деньгах обжигает его.

— Мне ничего не нужно! — резко говорит он учительнице но она

даже не слышит его, усаживается на табурет, угодливо подставленный бабушкой, приветливо улыбается Гале, Понте, кланяется персонально тете Нине и Олегу Андреевичу, сюсюкает что-то Котьке.

Никодим отошел, стал круглее, глаже, лицо то и дело ползет в улыбку. Но улыбаться открыто он как бы опасается, словно чего-то стыдится. Сережа нагло вато разглядывает Никодима, его ухоженный вид, изучает новый светлый костюм — раньше не было! — цветастый галстук — прежде он ненавидел галстуки, ходил вечно с расстегнутым воротом. Сережа замечает, что Никодим смущается, губы у него прыгают, брови шевелятся. Он без нужды причесывает волосы, прокашливается, что-то говорит Олегу Андреевичу.

Сереже делается стыдно.

Кое в чем он разбирается теперь. Немного успокоился и разбирается. В общем-то, Никодим человек не дурной, не злобный, не хитрый, не подлец, и маму он, видно, любил. Но бывают же вот такие люди — они, как амебы, простейшие существа: легко меняют форму. Даже если их разрезать — половинки будут нормально существовать и не догадываться, что они лишь части целого.

В природе вообще много всяких чудес. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, температуру тела, могут перестать есть, даже дышать, если нужно. И все для чего? Лишь бы жить. Жить любой ценой, несмотря ни на что.

Никодим такой же. Он встретил маму, и все было прекрасно — разве забудешь то поле возле стога, туман, похожий на молоко, Никодима и маму, собирающих цветы?

Он даже сильному стал: ведь когда Сережа его с Литературой в первый раз увидел, они спорили. Конечно, о маме, о чем же еще? Спорили,

и Никодим пришел к ним, и Вероники Макаровны не послушался. Она же хотела, чтоб ему было лучше — сама говорила, — а лучше, значит, не с мамой!

Сильный! Конечно, он сильный. Слабый бы так не поступил — совесть замучила. Впрочем, может, и Никодима мучает, но он сделал свое — и все. Точка.

Чего в самом деле! Он еще нестарый. Ему жить надо. «Горю не поможешь», — внушала Сереже Вероника Макаровна. И сыну своему это же внушила.

«Про деньги это тоже она», — думает Сережа. И при воспоминаниях о деньгах ему хочется вскочить, перевернуть стол, послать всех к чертовой матери. Он проклинает себя, проклинает бабушку за эту слабость — но что, что может поделать? Ведь он, если подумать, продал себя. Продал маму. Она бы на такое никогда не согласилась, у нее хватало и гордости и злости. А он, выходит, пошел. И какое имеет значение, что узнал все после, когда денег уже не стало, и что решила все бабушка одна, не спросив даже его...

Дело было так. Когда они меняли квартиру, тетя Нина очень возмущалась. Она говорила, что Никодим не имеет на нее никаких прав, что квартиру давали маме от работы и она принадлежит только Сереже.

Сереже эти слова не нравились, он осуждал тетю Нину, а Олег Андреевич все время повторял: «Пойми ты, у Никодима есть юридические права».

Двухкомнатную квартиру заменили на однокомнатную и комнату, Никодим сказал бабушке: выбирайте, что нравится больше. При разговоре была Вероника Макаровна. Она добавила:

— Разъезд, конечно, неравноценный, но если вы выберете комнату,

мы компенсируем... Дадим вам триста рублей.

Бабушка оправдывалась потом:

— Ведь у меня же пенсия — всего двадцать четыре рубля, да твоя, за маму, — сорок. Разве проживешь на это? Порешай-ка арифметику: питание, квартира, одежда — ты ведь так и лезешь из нее.

Сережа свирепел, слушая бабушкины объяснения. Но последним доводом она его убедила.

— А за мебель, которую себе взяли, надо с тетей Ниной рассчитаться? Или хочешь, чтобы Никодим платил? Он предлагает, нате...

Сережа помнит, он действительно предлагал.

— Чем эту подачку брать, — возмущается бабушка, — я уж лучше законную разницу за жилплощадь получу.

Много раз они говорили об этом. Обсуждали со всех сторон. И выходит, Никодим тут ни при чем. Они как бы сами продали однокомнатную квартиру.

Сережа разглядывает своих бывших родственников. Едва они вошли, в комнате стало как-то напряженно. Все говорят, улыбаются, как и раньше, но неестественно, скованно. Вероника Макаровна, кажется, чувствует это, но старается не замечать. Воркует о чем-то с бабушкой, та вздыхает, кивает головой, с ней согласная. В общем, по всему выходит, учительница тут ни при чем. Так ей хочется, вот что. Это дела Никодима, она же — Сережина учительница, и только. Мало ли что. Не она ведь въехала в эту однокомнатную квартиру. У нее своя жилплощадь имеется.

Наконец Литература встает, раскланивается со всеми, расточая улыбки и добрые слова, Никодим повторяет все ее движения, они уходят.

— Зря ты переживаешь, — говорит Сереже тетя Нина, — надо было только не триста, а пятьсот взять, квартира все-таки мамина была.

— Знаете что, — неожиданно отвечает Сережа, — больше я в школу не пойду. Устроюсь работать. — Он усмехается. — В конце концов, надо на что-то жить.

В комнате становится тихо. Потом плачет бабушка.

— Разве же затем, — всхлипывает она, — я в деревне дом заколотила, к тебе приехала? Тебе учиться осталось три года.

— В школе три года, да потом пять лет, — вздохнув, говорит Сережа, — нет, не выйдет, долго ждать.

Чего ждать? Он знает чего. Того дня, когда будут у него эти проклятые триста рублей. Нет, не понимает тетя Нина его. Не нужны им эти сотни. И папашины деньги не нужны. Разве же не ясно — этими деньгами они откупятся от него. Хотят благородными быть. Пусть подавятся благородством своим.

Сережа смеется. Словно с него спал какой-то груз.

— Олег Андреевич! — говорит он. — Тетя Нина! Помогите устроиться! Чтоб рублей сто получить.

— Сто — это много, — улыбается Олег Андреевич. — Чтоб сто получить, надо специальность иметь. Да и куда тебе столько...

— Нужно! — мрачно отвечает Сережа.

— А что, может, и в самом деле! — Олег Андреевич обнимает тетю Нину за плечи. — Может, пусть поработает. А учиться можно и вечером.

— Что бы сказала Аня? — задумчиво отвечает тетя Нина, вздыхает и с жалостью смотрит на Сережу.

— Вот вопрос — куда? — Олег Андреевич чешет лоб.

— Никакого вопроса, — отвечает спокойно тетя Нина. — К нам, на

студию. Будет под моим присмотром. И Аню там знают...

## 6

Сереза дежурит через день.

Должность у него — осветитель, платят семьдесят рублей, вполне прилично, он же еще несовершеннолетний, то есть не совсем полноценный работник.

Серезе на телевидении все нравится! Тут всегда праздник!

Вечером перед передачей вспыхивают гирлянды мощных ламп, тетя Нина, непохожая на себя, подгримированная какой-то яичной пудрой, усаживается за низенький столик, в последний раз листает текст — бумаги с напечатанными на машинке сообщениями, звукооператор подкатывает к ней «журавля» — микрофон, подвешенный к специальной металлической мачте с колесиками, операторы двигают, навалиясь всем телом, как докеры, свои тяжелые камеры, фиолетово сверкают объективы, прицеленные в тетю Ницу.

Вдоль всей студийной стены, под потолком, звуконепропускаемое стекло, как на радиостудии, но только больше, и за ним, у пульта с десятками рычажков, контрольных экранов, кнопочек и лампочек, сидят режиссер и его ассистент. Помощник режиссера носится в это время по студии с наушниками на голове, выполняет неслышимые команды начальства.

Потом щелкает табло, мерцает слово — краткое, как приказ: «Передача!» — и тут же на какой-нибудь камере вспыхивает красный глазок.

— Добрый вечер, товарищи! — улыбается тетя Нина. — Начинаем нашу вечернюю программу!

В студию врывается музыка, помощник режиссера двигает заставку-картинку, нарисованную на картоне, — там цветы, или пейзаж, или

название передачи, операторы крутят ручки своих камер, и камеры нехотя поднимаются на высоту, наклоняют их — выбирают ракурсы...

Серезина работа проста. Под руководством Андрона, старшего осветителя, он наводит свет на выступающих, если надо, выставляет отражатели, добивается, чтобы не было ненужных теней, чтобы, к примеру, носы не бросали тени на щеки, словом, стремится к качественному освещению лиц, фона, если надо — всей студии.

К тем, кого надо «высвечивать», как говорит Андрон, относится и тетя Нина. Сереза делает это с улыбкой и удовольствием, тайком разглядывая, как она «собирается» перед передачей, выбирает позу, как шевелит губами, «разрабатывая» их. Глаза у тети Нины светятся, и он думает, что она удивительно походит на маму. Не внешне, нет, а вот всем этим ежевечерним волнением перед эфиром, маленькими приготовлениями, которые, на первый взгляд, ничего не значат, но в самом деле означают многое.

Установив свет, Сереза шепчет шутливо тете Нине начало скороговорки, такого специального упражнения для дикции:

— В шалаше шуршит шелками!

Она кивает ему, понимает, что Сереза волнуется за нее, продолжает строчку:

— Желтый дервиш из Алжира!

— И, жонглируя ножами, — смеется Сереза.

— Штуку кушает инжира!

— Тихо, тихо, — кричит по радио режиссер. — Разбаловались, детки! Трехминутная готовность!

Сереза отходит на цыпочках в отведенный ему уголок, садится и молчит, как мышь. Он тут просто осветитель — и все. И не должен путаться под ногами.

Часто после традиционных «Но-

востей» всем, кто в студии, делать нечего до самого конца — когда диктор прощается со зрителями. Гаснут лампы, выключаются камеры. Режиссер на пульте курит, скинув пиджак, или даже дремлет. Остальные смотрят фильм по монитору или телевизору, установленным в фойе, а Сережа любит поговорить с тетей Ниной.

Они сидят в дикторской перед большими зеркалами, отражаются в них многократно, и тетя Нина рассказывает случаи из практики Олега Андреевича, или про Котьку, или про маму — каким хорошим она была радиодиктором, таких в стране немного, а в провинции не сыщешь днем с огнем. Сережа любит слушать рассказы про маму, а тетя Нина объясняет, что у каждого диктора должно быть свое лицо — творческое лицо, — своя манера, свой голос, непохожий на другие, так чтобы тебя узнавали сразу, без объявлений, и у мамы все это было.

— Ведь в том, что я диктором стала, — говорит тетя Нина, — твоя мама виновата. Я заканчивала институт, участвовала в самодеятельности — стихи читала, и вот нас пригласили записаться на радио. Твоя мама долго разглядывала меня сквозь окошко в радиостудии — я вела студенческий концерт, а потом ухватила меня за рукав, все про меня выспросила, наговорила кучу слов про мой талант и сюда привела. Вот я и не инженер, а диктор. — Тетя Нина улыбается тихо, наверное, вспоминает маму. — Так что Аня — моя крестная мать.

— А не жалеете, — спрашивает Сережа, — что не инженер?

— Нет! — уверенно говорит тетя Нина. — Твоя мама влюбила меня в эту профессию.

Сережа внимательно разглядывает тетю Нину. Не верит он теперь красивым словам, но тетя Нина гово-

рит искренне и про себя, отчего же ей не верить?

Они молчат. Сережа думает про маму, про непонятный ее обман, вспоминать о котором нет сил. Но надо, приходится.

— Тетя Нина! — говорит Сережа задумчиво. — А вы знали? Про отца?

— Нет, — отвечает тетя Нина, — не знала. Только накануне, как в больницу лечь, Аня мне рассказала. Словно предчувствовала... — Тетя Нина молчит, словно колеблется. — Этот Авдеев, — говорит она, — может, и непохой человек. Он ушел к другой женщине, и мама вычеркнула его из своей жизни. Но она считала, что ты не можешь быть без отца. Пусть выдуманного.

— Почему же она лгала? — не понимает все-таки Сережа.

— Не лгала! — останавливает его тетя Нина. — Ты считай, не лгала! — Тетя Нина смотрит на Сережу серьезно, требовательно. — Считай, что отец твой летчик, что он погиб, испытывая самолет. Ты подумай только: так мама хотела!

Сережа думает. Мучительно думает.

Что ж, думает Сережа, пусть так и остается? Этот мамин обман? Пусть отец его считается погибшим летчиком? Но где его могила? Где его фотографии? Не зря же их нет, ведь невозможно же потерять сразу все, абсолютно все существующие фотографии... Так и жить, представляя вместо отца то Гагарина, то Чкалова, то неизвестных летчиков в высотных костюмах? Нет, это невозможно. Нельзя всю жизнь врать — себе, своим товарищам, потом, когда станет взрослым, детям своим. Мама говорила: у каждого человека есть продолжение, будет оно и у Сережи, но что ж, тогда и у лжи продолжение будет? Ведь не смогут же внуки неизвестного летчика думать о нем так, как думал Сережа...

Мысли у Сережи совсем не мальчишечьи. И разве их передашь? Разве расскажешь все тете Нине?

Он напряженно молчит. Если бы взрослые лучше детей видели! Внимательнее на них смотрели! Не просто, как взрослые на детей, а как взрослые на маленьких взрослых. Как равные на равных, как мужчины на будущих мужчин и как женщины на будущих женщин...

Сережа разглядывает тетю Нину. Она красивая, счастливая, и сердце у нее доброе. Вот она и Сережу утешает, говорит, пусть так и будет, как мама выдумала.

Тетя Нина говорит это, потому что старается Сережу утешить. Потому что считает — он еще ребенок. Хочет не хочет, а смотрит на него как взрослая — сверху вниз...

Дети все-таки друг друга лучше видят. Вот Сережа Котьку, например.

Тетя Нина же Сережу не понимает. Видит, слышит и не понимает, потому что любит маму, любит Сережу и хочет все пригладить, успокоить, утешить.

Дети лучше понимают друг друга, думает Сережа и задумывается перед следующим вопросом, просто спотыкается о него: а вот взрослые понимают ли друг друга, как дети?

## 7

— Ты мужик али дите? — дурчась, спрашивает Андрон.

Сережа держит деньги, свою первую получку, и рот у него до ушей. Надо отложить немного, думает он, для тех трех сотен, остальное отдать бабушке, пусть больше не ворчит и не плачет.

Вечно у них из-за денег руготня. А недавно настоящая битва вышла.

Сережа собрался в магазин, полез к бабушке в кофту за деньгами, а вытащил квиток от денежного пе-

ревода. Его аж пот прошиб — опять от этого папаши! И нате вам — на бабушкино имя!

Он устроил допрос с пристрастием, сперва бабушка округляла глаза, делала невинный вид, потом разревелась и все рассказала. По порядку.

Знала она, единственная из всех, чей Сережа сын. Знала фамилию его, имя, отчество, поэтому, когда переводы приходиться перестали, испугалась — мол, услышал про маму и зати, выяснила адрес и явилась.

То ли просила его бабушка, а верней всего, сам предложил — этого уж Сережа добиться не мог, но Авдеев опять прислал перевод.

— Ты отвечай за себя! — кричал Сережа бабушке. — А за меня нечего! Я работаю, поняла, мне его подачки не нужны.

Он велел ей дать сорок рублей, пошел на почту и отправил деньги обратно. Заполняя бланк, Сережа подумал и написал там, где оставлено место для письма.

«В ваших деньгах не нуждаюсь, буду всегда возвращать». В конце он хотел расписаться, поставить, как Авдеев, неразборчивую каракулю. Но раздумал. Вывел ясную букву С...

А вот сегодня у С, у Сережи, свои, не зависимые ни от кого деньги.

— Ну как, мужик али дите? — повторяет Андрон. — Давай скинемся — обмыть же надо трудовое начало!

Сережа выкладывает, не раздумывая, трешку, остальные прячет в карман.

— Ну идем! — велит старший осветитель и сокрушается: — Вот беда — послать бы тебя, да не дадут — ведь несовершеннолетний.

Сережа ждет его в парке возле студии, Андрон исчезает и быстро возвращается с двумя бутылками и пирожками.



— Гляди не подведи,— предупреждает он,— а то узнают, что с несовершеннолетним пил, еще выгонят.

Лицо у Андрона маленькое, с кулачок, какое-то иссохшее, в глубоких бороздах морщин и местами шелушится. Сколько ему лет — не поймешь: не молодой, не старый. Бородка тощая, рыжая, клинышком. Он разливает портвейн по бумажным стаканчикам — себе полный, Сереже — половину, лицо его благостно разглаживается, еще немного, и он замурлычет от удовольствия.

— За начало трудового пути! — предлагает Андрон. — И пусть в этом пути будет побольше передышек!

Они пьют, заедают пирожками — вино сразу ударяет Сереже в голову, ему становится тепло, он разглядывает Андрона с любовью и уважением, кивает, соглашаясь с его словами.

— Работа, она как гора! — философствует Андрон. — На нее сразу не взбежишь. Да и к чему? Впереди у тебя много лет, силы экономь, пригодятся. Сделал рывочек — передохни, сходи в отпуск, возьми бюллетенчик, пораньше с работы отпросись, пока несовершеннолетний.

Он расплескивает еще.

— И не рвись! — поучает. — Не рвись ввысь! А то что за жизнь, сам подумай! Работать да еще учиться! Потом опять учиться! Да снова учиться! Кончишь вуз, заработал корочки, а уж устал, помереть охота. Но это только начало, выясняется. Дальше стараться надо! Перед кем-то выпендриваться, других оттеснять, выдвигаться! Тьфу на все это! Плюнуть и растереть.

Андрон плюет, но плевков свой не растирает. Разливает еще.

Кусты, за которыми они сидят, шевелятся, Андрон суетливо прячет бутылку за пазуху — перед ними стоит дружинник. Сережа разглядыва-

ет его внимательно: у дружинника скрючена шея.

— Э! — вскакивает Сережа. Он узнает дядю Ваню, балагура из больницы, соседа по палате.

— Ничего, ничего! — говорит дядя Ваня кому-то за кустом. — Тут свои! Наши! — Он присаживается к Сереже, отнимает у него бумажный стаканчик, подставляет его Андрону. — Дай-ка лучше мне!

Андрон успокаивается, жмет руку дяде Ване, объясняет:

— Первую получку обмываем!

— А ты че? — говорит дядя Ваня. — Работаете? А нашто?

— Мама у меня померла, — спокойно отвечает Сережа. Он вспоминает, как соврал тогда дяде Ване, что Никодим его отец, и хладнокровно восстанавливает истину: — А тотто, помните? Он не отец.

— Отчим? — спрашивает дядя Ваня.

— Нет... Просто так... Никто...

Теперь Сережа лежит в траве, разглядывает осотовые шишечки и края лопухов, которые обрамляют небо. Ему хорошо. Чуть-чуть клонит в дрему, но он не спит, слушает, как философствует Андрон.

— Мы тут про жизнь, — объясняет тот дяде Ване. — Значит, на чем я остановился? Ну да! Плюнуть и растереть! Жить надо неснешно, куда торониться, себя надрывать — на тот свет? Поснеется. А на том свете все меж собою равны. И достигшие. И недостижшие. Недостижшито еще и лучше, поди-ка. Хоть вспомнить есть что: жил, мол, удовольствия ради, а не бежал наперегонки с другими. Ты вот кто? — обращается Андрон к дяде Ване. — Асфальтировщик? На катке? Прально! Прально! Мудро, я бы сказал! Я вот тоже всего-навсего осветитель. Лампочками освещаю людей. Не бог весть, слышишь? И не надо! Я не гордый. Я и так проживу, пусть другие ло-

маются: призывания, мечтания, тьфу — растереть и плюнуть!

«Ха, летчиком я хотел стать, — думает Сережа, — а вот и не буду. Буду осветителем, как Андрон, — просто и тихо. И не надо ломать голову, биться, выпендриваться, все верно он говорит».

Андрон молчит, допивает свой портвейн, а дядя Ваня говорит задумчиво:

— Заберу, однако, я тебя.

— За что? — поражается Андрон. — Вместе же пили!

— Вместе, — грустно соглашается дядя Ваня, — но я тебя не за это заберу. А за слова твои, понял? За твою философию. — Он берет Андрона за грудки, притягивает к себе. — Житуха-то ему и так не больно сверкает, понял? Так ее веселить надо, понял, а не паскудить, как ты! Масло в огонь не подливать, да еще мальчонке! — Он поднимает Андрона на ноги. — А ну давай, Лев Толстой! Пошли к богу!

Сережа хохочет. Ну просто заливается. У Андрона на лице страх — того и гляди, в штаны напустит. Он же не знает, какой дядя Ваня балагур.

— Кончай! — говорит он дяде Ване. — Не тронь. Он мой шеф!

— Шеф! — восклицает дядя Ваня. — Такой же шеф, как я японский император.

Сережа представляет дядю Ваню в японском кимоно и опять хохочет. Балагур плюет в досаде, поворачивается, исчезает за кустами, но тут же возвращается.

— Тогда я тебя заберу! — говорит он Сереже. — Вставай. Пошли отсюда!

Андрон разводит руками.

Вот он похож на японского императора. Сидит под кустом, ноги калачиком, руки развел, перед ним, в траве, пустая бутылка, как священный светильник.

— Поди-ка, не емши? — спрашивает его дядя Ваня.

Сережа мотает головой. Все кружится перед ним, но ему весело. Дядя Ваня держит его под руку, куда-то ведет, и вдруг они оказываются в маленькой комнате, за столом, перед ним дымится вареная картошка, а рядом сидят три лупоглазых пацана мал мала меньше и невысокая тетенька. Сережа узнает дяди Ванину жену, пацанов, которые приходили все вместе в больницу, тыкает вилкой в картошку, но все время отчего-то промахивается.

— Ишь развезло, — говорит жалючи дяди Ванина жена.

Сереже неловко.

— Я сегодня зарплату обмывал, — говорит он.

— Слышь-ка, — стучит дядя Ваня пальцем по краю столешницы. Палец у него твердый, как бы закорстелый, и стук от этого получается громкий. — Слышь-ка, — говорит он, — ты этому черту с бородкой не поддавайся. Не возжайся с ним, хоть он начальник твой. Обернуться не поспеешь, голову закрутит, пустомел. Разве ж можно с такими идеями жить? В гроб только ложиться да помирать. А человек жить обязан.

— Че ты, че ты! — тараторит Сережа, изо всех сил держа глаза открытыми. — Он все прально. Без болтологии. Как в жизни, как на самом деле...

— Не как в жизни, — качает головой дядя Ваня. — Слабый он просто, понимаешь? Не повезло ему когда-нибудь, вот он и скис, придумал слова разные, чтоб оправдываться... Он ведь эти слова-то даже не тебе говорит, а самому себе. Себе внушает, что он правый, а остальные дураки.

Сережа молчит. Думает.

— Если несчастье случилось или не повезло, надо, наоборот, сильнее быть, злей даже. Повезло не повезло! Жизнь ведь не сани, никуда не везет, надо самому жизнь двигать!

Они выходят на улицу.

— Продышаться тебе надо, — говорит дядя Ваня.

Сереза втягивает в себя прохладный вечерний воздух, голова свежеет, и в сон уже не тянет.

— Промежду прочим, — говорит дядя Ваня, — люди пьют с радости или с горя. Ну, понятно, получка — праздник, отметить можно, хотя скажу прямо: если бы мой пришел так нагостевавшись, выдрал бы как сивого мерина!

Дядя Ваня кипятится, а вовсе не балагурит. Что-то всерьез все принимает.

— Конечно! — говорит Сереза. — По-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны? Сами пьете, а мы что — хуже вас? — Он задирает дядю Ваню. — Сам-то шею как сломал? А?

Дядя Ваня молчит, сжимает и разжимает кулаки, нервничает.

— Ишь, въедливый какой! — сердится он. — Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть, черт бы тебя побрал!

— Вот-вот, — отвечает Сереза, — дети — должны. А взрослые — не должны.

Дядя Ваня не согласен с Серезой, но ему не хватает слов, что ли. Доказательств.

— Пойми ты! — восклицает он. — У взрослых жизнь труднее, вот, например, я...

Он умолкает. Сереза приготовился смеяться — раз про себя, значит, смешное. Ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная, одни нелепые происшествия, как тогда — из окна в клумбу свалился.

— Ну слушай, раз так, — говорит дядя Ваня, а морщины на его лице

делаются глубже. — Никому не говорил, даже жена не знает, поэтому молчи, будь мужиком.

— Вот эта жена, которую ты знаешь, — говорит дядя Ваня, — у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны, молодым, совсем мальчонкой. И было двое детей у нас — две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел на фронт, сразу же попал в окружение, когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. — Дядя Ваня закуривает, и Сереза видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дяди Ванина тревога незаметно передается и ему, он уже не смеется, не ждет забавного, а слушает внимательно, напряженно. — Получаю известие, — повторяет дядя Ваня, и голос его хрипнет, — что бомба, в общем — прямое попадание в щель, где они прятались. Детей сразу, на месте, жена умерла в больнице. Незадолго, пишут, перед тем получила обо мне извещение — пропал без вести.

Дядя Ваня вздыхает, долго молчит. Пускает через нос дым, окутывается табачным облаком.

— Ну вот, — говорит, затапывая папироску. — Вышел я из войны, помотался по белу свету. Долго плутал, никак своего найти не мог. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, все вроде как заросло — не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на Юг, в санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, любуюсь прибоем и вдруг, представляешь, вижу — идет навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра... Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились! — Дядя Ваня вздыхает, трет лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. — Вишь, как выходит. И радоваться вроде

надо. А вроде и плакать. Нюра в госпитале тогда не померла, хотя плоха была,— ее эвакуировали. Ожила, после войны замуж вышла: считала меня погибшим. Тоже дети есть, семья... Вот и посоветуй,— оборачивается к Сереже дядя Ваня,— как быть? И любим-то мы с ней друг дружку по-старому. Может, и крепче еще. И семьи наши новые ломать права не имеем.

— Почему? — спрашивает Сережа.— Ведь встретили же! Все слава богу!

— Почему? — переспрашивает дядя Ваня и горько усмехается.— А потому. Из-за детей.

Из-за детей! Сережа сжимает шершавый дяди Ванин кулак, благодарность теплой волной захлестывает его. Благодарность и горе.

— Оттого и пил я,— говорит дядя Ваня.— Через это и с подоконника упал, черт бы меня побрал.

Теперь этот случай не кажется больше смешным. Сережа разглядывает в темноте дяди Ванино лицо.

— А вот мой,— говорит Сережа, кусая губы,— обо мне не думал.

— Живой он у тебя, настоящий-то? — спрашивает дядя Ваня.

— Живой,— отвечает Сережа.

— Эх, дела! — говорит дядя Ваня.— Но ты, того, не хнычь, не распускайся. Волю свою держи. Бывает, что надо переступить себя.

— Переступить! — восклицает Сережа и повторяет задумавшись: — Переступить...

Дядя Ваня переступил для детей, это ясно, для своих детей. Сережа, коли надо, десять раз себя переступит. Ну а сейчас-то? Через что переступить? Почему? Зачем?

Сережа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощанье несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Сережи. Он сказал, что у той Нюры, первой своей жены, не спросил даже

адреса. И новой фамилии. Чтобы не было никакого пути назад.

— Пусть будет, как было,— сказал он ей, и она согласилась.

Сережа вздрагивает. Это кажется невероятным! Живые люди считают себя мертвыми!

Он вспоминает ребят дяди Вани: а ведь правда, они не виноваты! Но и это еще не все. Можно невиноватых виноватыми сделать. Важно — думать, важно — беречь, важно себя для других не жалеть, вот что.

Сережа невольно думает про Авдеева. Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их. Важно — бросил. Не захотел подумать, уберечь, важно, что себя пожалел.

А может, не так? Может, все по-другому?

Может, это мама бросила его?

Но это все равно. Мама бы не ушла просто так. Просто так ничего не бывает. И теперь вот он, Сережа, должен думать о нем.

Зачем? Зачем он взялся из этой маминой тайны? Зачем он убил того, Сережиного отца, — пусть с разными лицами, но хорошего, доброго, несчастливую?

Сережу знобит от бескрайней обиды. Он с ненавистью сжимает зубы. И вдруг бежит.

Он бежит не домой — к Авдееву.

Сережина тень то обгоняет его, то на мгновение отстает. Фонари бросают блики на его вспотевшее, влажное лицо. Голова кружится.

Уже темно, в окнах гаснет свет.

Сережа врывается во двор, где живет папаша, и орет во все горло:

— Авдеев! Авдеев!

Вспыхивает свет в окнах на третьем этаже. Кто-то в майке выходит на балкон.

— Кто там? — хрипло говорит человек.

— Зачем ты явился? Кто тебя просил? — кричит Сережа.

— Не делай глупостей, Сережа! — отвечает тень на балконе.

Сережа стремительно наклоняется, подхватывает с земли камень и швыряет в авдеевское окно.

Раздается грохот.

— Есть! — шепчет себе Сережа и поднимает еще камень.

Снова звенит стекло.

— На! — кричит Сережа. — На, гад! Получай!

В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, словно поглядеть на пожар, что-то кричат, но Сереже все равно — что...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ПОБЕГ

#### 1

Бабушка стоит посреди комнаты босиком, в длинной белой рубашке — настоящее приведение. Косички дрожат у нее на плечах — она плачет, но в руке держит ремень.

— По ночам шляешься! — говорит бабушка, стараясь быть грозной. Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола.

— Господи! — плачет бабушка. — И пьяный! — Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек — свою зарплату.

Слезы у бабушки сохнут.

— Не знаю, об чем и думать, — говорит она. — Куда бежать — то ли в морг, то ли в милицию?

Она накидывает халатик, приносит Сереже молоко, хлеб, колбасу.

Сережа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешевеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнату. Как у Пушкина, думает он: «Воротился старик, — глядь — стоит преж-

няя избушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитое корыто...» Много захотел очень, издевается он над собой, проваливаясь в сон. Сыном стать... Брата или сестру...

Он просыпается от толчков. Ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо.

— За тобой пришли! — плачет она. — Что наделал-то?

Он встает, подходит в трусах к столу.

Возле двери — молоденький милиционер. За ним — Авдеев и какая-то женщина.

— А! — говорит Сережа, не удивляясь. — Здрасьте-пожалте, гости добрые!

— Он еще и острит! — говорит милиционер. Во все щеки у него румянец. Будто отлежал. Но слова говорит серьезные. — Давай-ка одевайся!

Сережа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щеку и говорит ей:

— Ты не волнуйся! Спи! Я просто папаше окна выставил!

— Окна ты выставил не папаше, — говорит милиционер, присаживаясь, — а совсем другим людям.

Другим людям! В Сереже что-то обрывается. Какая глупость! Почему — другим?

Сережа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянет себя. Ведь это из-за него растянула она толстые губы, как девчонка, плачет без удержу, надевает при всех платье. Он прикрывает ее собой, говорит посторонним:

— Отвернитесь, чего уставились! — А сам думает: «Дурак проклятый, чего натворил!»

— Товарищ сержант, — говорит Авдеев, — но мы же уже договорились с Клавдией Петровной, — он глядит на кивающую женщину, — полюбовно, так сказать, миром, я все

оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий...

— У вас к нему нет, а у меня есть, — отвечает милиционер, — я, если хотите знать, о вашем же сыне беспокоюсь, хоть вы и порознь живете. Сегодня вам окно высадит, а завтра кем он станет?

Милиционер постукивает карандашиком.

— Мы фиксируем, — втолковывает он Авдееву, — все факты хулиганства подростков и, если вот бабуся с ним не справляется, путевочку в колонию выпишем.

Сережа разглядывает милиционера и никак не может простить себе оплошку. И вдруг поражается: но за что же он хотел выбить окно Авдееву? Кто ему этот человек? Сам же говорил: его нет, не существует!

На душе муторно, как-то липко.

— Знаете, — говорит он, — вы меня простите, это вышло как-то случайно, я выпил.

— Ну вот! — хлопает белесыми ресницами милиционер. — Как говорится в худфильме — признание прокурора президенту республики.

Он распахивает блокнот, начинает что-то быстро строчить, зернышко карандаша громко шуршит под сильным нажимом.

— Товарищ милиционер! — зывает к нему Авдеев.

— Мы же договорились, — неуверенно просит пострадавшая Клавдия Петровна.

Бабушка снова плачет, но сержант их не слышит.

— Значит, вы с ними не живете, — говорит он как бы сам себе, но обращаясь к Авдееву. — С мальчиком одна бабушка. Как фамилия, — он мельком вскидывает на нее глаза, — подросток хулиганит в пьяном виде и уследить за ним некому.

— Погоди! — говорит бабушка. В глазах у нее решимость.

Милиционер перестает писать,

снимает наконец фуражку, сурово оглядывает бабушку, не в силах понять, по какой такой причине она сбивает его мысль.

— Погоди! — повторяет бабушка. — Есть еще кому за него заступиться, у него еще отчим имеется.

— Где же он? — удивляется милиционер.

Бабушка суетится, бормочет под нос:

— Сей минут, сей минут! — потом бросается к выходу, кричит: — Я ему позвоню!

Сережа досадует на бабушку, клянет себя за дурасть, за непростительную свою ошибку и объясняет:

— Она же зря пошла, понимаете, отчим со мной не живет, он ушел после мамы, и вообще, ведь виноват я...

Милиционер разглядывает Сережу — слушает и не слушает. Потом спрашивает:

— Что пил-то? И с кем?

— Портвейн, — отвечает Сережа, а дальше врет: — На именинах у одного мальчика...

— На именинах, — вздыхает милиционер, в голосе его Сережа не слышит прежней решимости. — В первый раз?

— В первый, — говорит Сережа.

— Если штраф надо, товарищ сержант, — перебивает его Авдеев, — вы сразу скажите, я готов хоть сейчас, все-таки Сережа — мой сын, я обязан.

Гнев душит Сережу: «Все-таки сын»!

— Товарищ Авдеев! — дрожащим голосом произносит Сережа, и отец его испуганно сверкает очками. — Товарищ Авдеев! — зло повторяет он. — Что вы тут меня защищаете! Что вы все откупаетесь! Я не нищий, я работаю и без ваших забот обойдусь!

Милиционер поднимается, прохаживается по комнате, пуская за со-

бой папиросный дым. Серезу колотит. Он не верит Авдееву. Он точно знает, что Авдееву надо все пригладить. Чтоб никто ничего не подумал...

Щелкает ключ. На пороге стоит бабушка. Косички снова развязались и болтаются на плечах.

— Не пошел,— произносит она растерянно.— Я, говорит, сплю и все равно с вами не живу. Не отвечаю.

Милиционер останавливается, задумчиво глядит на бабушку, дымит папиросой. Потом подходит к столу, сует в карман свой блокнот и молча выходит. За ним исчезает женщина. Авдеев на пороге оборачивается.

— Эх ты! — говорит он и шевелит желваками. Потом плотно прикрывает дверь.

Сереза облегченно вздыхает.

— Глупенькая ты моя,— говорит он бабушке и, как маленькую, гладит ее по голове.

А бабушка опять плачет.

Потихоньку бабушка затихает, и чем тише всхлипывает она, тем больше саднит Серезе душу, колет досада на самого себя, жжет собственная несправедливость.

## 2

Сереза просыпается рано, еще нет шести. Медленно обходит квартиру. Собирает в авоську Никодимовы подарки. Альбом с марками. Книжки. Боксерские перчатки. Ласты, трубку, маску. Футбольный мяч. Выводит из угла велосипед.

Он стирает ладошкой пыль с зеркала, глядит в него. Год только... Целый год...

Сереза вспоминает, как свалился, заглядевшись на себя в это зеркальце... Глупый был, совсем пацан.

Из всех Никодимовых подарков Серезе жаль только велик. Да и то не потому, что он ему нужен. На велосипеде он катался в прошлом го-

ду — нынче ни разу не сел даже. Просто потому... В общем, ясно.

Велики привезли тогда Валентин и Колька. Ехали на похороны, а про них не забыли — вот какая деревенская привычка. Поставили тихо в чуланчике у дворника на старой квартире. И вот Серезин здесь.

Да какой он Серезин? Никодимов. Все это добро Никодимово, ему вроде взятки давалось. Теперь-то он понимает, прекрасно все понимает.

Сереза представляет, как вчера ночью стоял сонный Никодим у телефона в одних трусах, с измятыми щеками, как слушал бабушкины слова, как бегали у него глаза, как сказал он бабушке свое решение. Ясное дело, это Серези он стеснялся, пацана, потому что говорил ему когда-то совсем другое, а перед старухой стыдиться не приходилось — чтобы раз и навсегда все было понятно. Испугался... Может, и не испугался, а не захотел. Твердо сказал, что отношения не имеет...

Бабушка не глядит на него, пригорюнься, но молчит, не возражает. Еще бы! Это ведь ей вчера досталось. Эх, бабушка, деревенская твоя душа...

Сереза вешает авоську на руль, выкатывает велосипед на улицу. Сначала он ведет его просто. Потом садится.

В последний раз!

Педали радостно поскрипывают, — наконец-то они крутятся, потренькивает звонок, когда колеса попадают в выбоины, мягко шуршат шины. Вот так... Все это было, теперь не будет. Это — прошлое.

Сереза не торопится. Делает круг по городу. От их с бабушкой комнатки к дому, где было счастье. Потом к другому, старому, где они с мамой много-много лет прожили, где было хорошо и покойно. Интересно, думает Сереза, висит ли то объявление на двери: «... а то мозги

вылетят!» И живет ли та сварливая соседка? Потом Сережа мимо школы проезжает, словно прощается со всем этим миром, миром детства — горестного и счастливого. У Галиного дома Сережа притормаживает, вглядывается, вилля рулем, в пустые окна. Наверное, еще спит.

Велосипед идет медленно, нехотя, будто знает — следующий этап — Никодим. Однокомнатная его квартира, где он теперь живет.

Сережа решительно крутит педали, резко тормозит, втаскивает велосипед на четвертый этаж. Перед тем как позвонить, снова гладит зеркальце.

Прощай, велик! Передавай привет!.. Кому?

Прошлому лету!

Он нажимает на кнопку. Слышит шаги за дверью. Гремит цепочка, на пороге — заспанный Никодим.

— Получите ваше имущество, — говорит спокойно Сережа.

Никодим что-то там лопочет, но Сережа уже шагает вниз.

Он идет по городу.

Хотя еще утро, солнце печет, будто близкая печка слепит глаза, выбивает пот. Август, а как в июле.

Время есть, Сережа шагает просто так, без цели и вдруг носом к носу сталкивается с Литературой.

В руках учительница держит бидончик и авоську, полную всякой снеди: помидоры, огурцы, но главное, арбуз. Арбуз оттягивает ей тонкие руки.

— Сереженька! — обрадованно восклицает Литература. И вдруг просит: — Ну-ка помоги!

После вчерашнего? Как у нее язык поворачивается просить помочь после вчерашнего? Сережа сердито разглядывает бывшую родственницу, он готов отказаться, но вид у Литературы жалкий, усталый, волосы совсем закрывают глаза, а она не может даже откинуть их — заняты

руки. Да ведь и не было ее вчера, наверное, у Никодима? Не знает она ничего? Он молча берется за авоську.

— Сейчас к Никодиму зайдем, — болтает учительница. — Отрежу тебе арбузика. На рынке открывала — уж такой яркий, такой сахаристый.

«Как же, — думает Сережа, — непременно зайду!» А про себя отмечает: значит, не знает еще ничего. Но что ему за дело? Пусть знает! Донесет вот авоську до подъезда, а там пусть катится...

Сережа шагает, глядя себе под ноги, перехватывает авоську из руки в руку, молчит, но Литература и не требует от него ответов. Ей носильщик нужен, вот и все.

Она перебирает всякую безделицу — сколько народу на рынке, как все дорого, и вдруг произносит:

— Сережа, Никодим у вас помазок для бритвы оставил, две майки и тренировочные брюки, хлопчатобумажные, в суете разъезжались, понимаешь... Посмотри...

Сережа останавливается. Голова у него начинает кружиться. Все быстрее, быстрее.

— Что? — переспрашивает он. — Помазок и брюки?

— Да, да, — улыбается доброжелательно Вероника Макаровна. — И две майки.

Сереже хочется вдруг спросить ее. Задать один вопрос.

— Я ночью разбил окна людям, — говорит он торопясь, — и бабушка позвонила Никодиму, чтобы он заступился, понимаете? А он сказал: я ничего не знаю, я с вами теперь не живу.

Сережа видит, как вытягивается лицо Вероники Макаровны. Она переступает с ноги на ногу, мучительно думает, что ей сказать: что-то борется в ней, какие-то слова. Наконец успокаивается. Смотрит на Сережу уверенно.



— А что же, — говорит, — он должен был сказать?

«Ну вот и все! — облегченно вздыхает Сережа. — Пожаловался».

Он кладет авоську на землю, кивает учительнице, поворачивается и бежит.

— Принесем, — кричит, обернувшись, — и помазок и все прочее!

Сережа бежит по серому асфальту, и его колотит жаркая ненависть.

Он вспоминает тот летний вечер, когда Литература пришла к ним в гости. И маму — напряженную, злую. Да, да, да! Мама была права! Тысячу, миллион раз! Нельзя было верить. Ни на минуточку. Все представлялась эта Вероника Макаровна. Даже тогда, когда говорила: у нас похожая судьба. Может, и похожая была, да мама никогда бы так не сказала. Не стала бы выгораживать своего сыночка перед своим же учеником.

Сережу душит обида, слезы наворачиваются на глаза.

— Эх вы! — шепчет он. — Благородные люди!

### 3

В студии записывают «Трех мушкетеров». Еще вчера Сережа думал об этом с любопытством, сегодня все кажется ему глупым, бездарным обманом. Эти жирные, старые мушкетеры, с которых градом катится пот, их неумелое брэнчанье шпагами, громогласные фальшивые слова.

В разгар записи и совсем не по пьесе с грохотом, одна за другой, взрываются две лампы. Освещение недостаточно, и режиссер на пульте кричит по радио:

— Осветители! Андрон!

Андрона в студии, как назло, нет, он выскочил куда-то, и режиссер набросился на Сережу:

— Немедленно менять лампы! Никакого порядка! Набрали сопляков!

На глаза наворачиваются слезы.

— Я эти лампы не делал! — кричит Сережа режиссеру и бежит на склад, но теперь куда-то исчез кладовщик, Сережа обегает коридоры, заглядывает во все комнаты, наконец находит его в самом неподходящем месте.

— Что! — орет разъяренный кладовщик. — И это нельзя! — Будто Сережа последний тиран и мерзавец.

— При чем же тут я? — объясняет Сережа. — Ведь запись, простой!

— А при чем я? — орет взвинченный кладовщик. — Ну эта занюханная контора! Никогда никакого порядка! Уйду!

Назло Сереже и всему свету он копается, пишет через копирку какую-то бумагу, дает Сереже расписаться. Наконец выдает две лампы. Сережа мчится по коридору к студии. Лампы большие, он держит их широко растопыренными пальцами. И вдруг распахивается дверь из какой-то комнаты, Сережа шархается к противоположной стене, одна лампа вылетает из его вспотевших пальцев и с торжественным звоном разлетается в мельчайшие осколки. Сережа готов завывать от обиды, от неудачи, но в дверях, которые распахнулись так неожиданно, стоит Андрон. Он все понимает, кивком головы велит Сереже бежать в студию, а сам мчится к кладовщику.

Режиссер на пульте совсем сходит с ума.

— Скорей, скорей, скорей! — орет он голосом, усиленным динамиком. — Кончается время!

Сережа вкручивает свою лампу, в студии появляется Андрон с озаченным лицом и еще одной лампой. Вид у него такой, что режиссер молчит — вообще с Андроном лучше не связываться... Лампы

вспыхивают, в студии солнечно и ярко, «Трех мушкетеров» начинают записывать снова, пожилые толстяки опять начинают брэнчать шпагами.

Сережа сидит в своем углу, сжав голову руками, почти в отчаянии.

К нему на цыпочках подходит Андрон.

Сережа закрывает глаза. Ни о чем не хочется говорить.

После записи они сидят в буфете. Глодают безвкусные сосиски. Пьют лимонад.

— Покорей жуйте! — шумит на них буфетчица, пожилая тетка с плоским, как у якутки, лицом. — Пора уходить! Вас ведь тут никогда не накормишь, идут и идут, идут и идут!

Сережа видит, как, мусоля пальцы, буфетчица считает стопку денег. Целую кучу.

Денег... Много денег... Его осеняет: «А нужно только триста! Прийти и отдать. Вместе с помазком и этими хлопчатобумажными брюками. Ничего не говорить, отдать только. Или сказать: вот вам ваши игрушки... Как в детстве... Подачки мне не требуется!»

— Андрон, — говорит Сережа, — одолжи три сотни.

Тот крутит пальцем у виска.

— Тебе куда столько?

Сережа говорит ему про размен. Про Никодима и его мамашу. Про триста рублей, которыми бабушка соблазнилась и которые дают и унижают его. Про вчерашнее. Про Литературу — как колебалась она, что ответить.

Андрон чертыхается.

— Все в мире разделено на две половины, — говорит он. — В цвете — черное и белое. В морали — высокое и низкое. В характерах — хитрость и простота... Вот ты — пацан еще, поэтому простой, неопытный. А твои эти... родственники... Ей же свся рубашка ближе к телу. А спра-

ведливость — как бог на душу положит...

Сережа кивает головой. Точно. Правильно рассуждает Андрон.

— Но не все так просто, — продолжает Андрон. — Ты трактат Чернышевского читал? Об отношении искусства к действительности?

Сережа мотает головой.

Что-то плохо он понимает.

— Слушай сюда! — восклицает Андрон. — Сейчас поймешь!.. Вот в болоте! Лягуш на лягушку глядит, и нет для него никого прекраснее. А меня, может, от вида этой лягушки тошнит. Это теория, понимаешь?

— Вы кончите, нет, пустобрехи? — взрывается буфетчица. — И молотят и молотят, вот язык-то без костей.

— Зато у тебя, — говорит Андрон, — язык с костями. Я имею в виду телячий язык и рыбы кости, — все в одной тарелке!

— Чистоплюй нашелся! — орет буфетчица. — А ну давай отсюда.

Она кладет деньги в ящик, вделанный в прилавок, щелкает замком, машет руками:

— Все! Закрыто!

Андрон и Сережа идут на улицу. До передачи полчаса. Они забираются за кусты в парке, ложатся в траву.

— Итак, исходя из Чернышевского, — продолжает Андрон, — на вещи можно смотреть по-разному. Сейчас ты на родственников этих глядишь как слабый на сильных. Но вот ты достаешь триста рублей, швыряешь им и уже — что? — смотришь на них как сильный на слабых.

— Это верно! — говорит яростно Сережа. — Очень верно! Но где взять триста рублей?

— Вот это интересный вопрос, — объясняет Андрон. — Уже по Достоевскому. Помнишь — в болоте все прекрасны. А я давно говорю, что вся наша жизнь — болото. Чем мень-

ше в него влезаешь, тем лучше. Но это другое дело. Итак, теорема: ты в болоте. В болоте? — спрашивает он Сережу.

— В болоте, — соглашается тот. — Да еще в каком!

— Значит напрашивается вывод — не бойся запачкаться. Все равно в болоте. Ведь, запачкавшись, ты как бы сразу очистишься: отдашь эти три сотни, швырнешь им в лицо!

— Украсть, что ли? — не понимает Сережа.

— Во брякнул! — поражается Андрон. — Это уж слишком уголовная мера... Ну продай что-нибудь... Займи до завтра, а сам не отдай... Что-нибудь такое мирное. Аморальное, но не совсем. — Он потягивается в зеленой траве. — Я бы тебе дал, — говорит он, — даже аморально, до завтра, но с обманом. Да ведь нету! — Андрон зевает и декламирует: — Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...

— Слушай, Андрон, — спрашивает вдруг Сережа, — а ты кто?

— Как кто? Старший осветитель.

— А еще? — добивается Сережа. — Кто ты в самом деле?

— Пьяница, — отвечает Андрон добродушно, — а оттого и натуралист.

— Как, как? — не понимает Сережа.

— Ну, на жизнь смотрю натурально. Без всяких прикрас.

4

Это верно, размышляет Сережа на передаче, жизнь надо рассматривать без всяких прикрас. Чем дольше он живет, тем больше в этом убеждается. На жизнь надо глядеть трезво, взросло, серьезно. Никто к тебе не придет и не скаж т: Сережа, вот тебе деньги. Пойди швырни их Литературе. Вместе с их барахлом. Дядя Ваня прав. Жизнь надо самому двигать, а не ждать пока пове-

зет. Это не сани какие-нибудь, правильно.

Деньги! Деньги! Чем больше думает о них Сережа, тем больше уверенности: обязательно! Обязательно надо отдать. И ошибается тетя Нина, которая не считает эти деньги оскорбительными. Очень здорово ошибается! Больше ничего не должно их связывать. Ничего. Ни помазок, ни та подачка.

Сережа не дожидается, когда закончатся «Новости». После этого станут крутить детектив, подряд две серии — это два часа, не меньше, и, может быть, если тетя Нина согласится, они успеют к ней сбегать... Делать нечего, он решил занять у нее. Надо только не говорить для чего.

«Новости» заканчиваются. Сережа поворачивает рубильник, лампы гаснут. Он идет в дикторскую. Тетя Нина сидит спиной к двери, держит в руках гитару.

— Садись, Сереженька, — говорит она ласково и тихо трогает струны. — Как дела? Все хорошо у тебя? С Андроном ладишь? Он забавный дядька, не правда ли? Этаким философом!

— Все хорошо, — отвечает Сережа, — с Андроном нормально...

Тетя Нина начинает играть, и Сережа вздрагивает. Мама! Это мама!

Гори, гори, моя звезда,  
Звезда любви приветная,  
Ты у меня одна заветная.  
Другой не будет никогда...

— А кто, — словно в полусне, спрашивает Сережа, — кто у вас эта звезда?

— Котька! — отвечает тетя Нина.

— А Олег Андреевич? — спрашивает он.

— И Олег Андреевич, — улыбается тетя Нина.

Сережа проглатывает комок, подступивший к горлу. Все, как было. И даже ответы такие. Только мама

тогда головой мотнула, когда он про отца спросил. «Нет,— ответила она,— только ты». Сереже ясно теперь, почему она головой мотнула, почему так ответила.

Воспоминания наваливаются на него, сгибают плечи. Что бы, интересно, сейчас сказала мама, думает он, что посоветовала? Ясно — рассчитывать с Никодимом и Литературой. Но как?

— Тетя Нина,— говорит Сережа,— одолжите триста рублей?

— У меня нет,— говорит она и удивляется:— Зачем тебе столько?

«И так неудобно,— думает он,— но что делать — спрашивал наудачу, на всякий случай».

— Один долг обязательно надо вернуть,— говорит Сережа.

— Я бы дала,— говорит тетя Нина,— без всяких разговоров, но сейчас нет. Может, терпит месяц? Или давай я перезайму.

Ну нет! Что он, маленький?! Сережа отнекивается, объясняет, что это вовсе не обязательно, что найдет сам.

Он выходит из дикторской. Остается одно. Понтя. К нему приехал дед генерал. Дед, наверное, богатый.

Сережа предупреждает Андрона, садится в троллейбус. Понтя дома, но генерала нет, только какой-то старик в шлепанцах на босу ногу и полосатой пижаме смотрит телевизор.

— Пантелеймоша! — говорит Сережа умоляющим голосом.— Попроси у своего генерала триста рублей. Во как нужно!

Понтя рассеянно оглядывается, потом шепчет:

— Зачем?

— Только не спрашивай,— говорит громко Сережа,— узнаешь потом! Ну попроси у генерала!

— Ты что думаешь! — вмешивается вдруг старик у телевизора.— Раз генерал, значит, миллионер?

— Нет,— объясняет горячо Сережа,— не миллионер, у нас они не водятся, но все же!

Старик качает головой. И тут только до Сережи доходит, что этот старик и есть генерал. У него в самом деле усы. И когда он покачал головой, усам нос погладил — точно так, как Понтя губой шевелил.

— Это вы и есть? — говорит растерянно Сережа. Он пятится к двери, краснеет. — Тогда извините! — лопочет он.

Старик вскакивает с кресла, глаза его смеются, он забавно, как тараканище, шевелит усами.

— Ну, а если,— говорит он,— я триста рублей найду, когда вернешь? Через неделю?

Сережа вспоминает Андрона. «Что-нибудь такое,— говорил он,— аморальное, но не совсем». Вот оно — не совсем аморальное, кивнуть, дать слово, а потом не вернуть.

— Ну через две,— говорит генерал, и Сережа видит Понтино лицо сбоку. Понтя радуется, подмигивает, мол, бери. Но через неделю Сережа не вернет. И даже через две. Может, через полгода.

— Нет,— говорит он,— спасибо. Через две — тоже.

— А мне к тому времени уезжать надо,— объясняет старик,— я ведь знаешь, хоть и генерал, а пенсионер,— деньги на билет потребуются. На дорогу. Кое на какие покупки.

Сережа разглядывает доброго старика. Нет, он не может его подвести. И себя не может. Никак.

Сережа прощается с генералом и Понтей. Они жмут ему руку. Сережа выходит на улицу. Облегченно вздыхает.

Он улыбается. Ему нужны триста рублей, просто позарез нужны, но как здорово, что он не взял их у генерала. Ведь даже в зеркало сам на себя он не смог бы тогда глядеть.

Сереза едет домой. Бабушки нет. Куда-то ушла.

Он открывает шкаф, где хранится одежда, перебирает плечики с мамиными платьями.

Сердце обрывается.

Вот в этом платье мама приходила в больницу, когда Серезе исполнилось четырнадцать. В этом ходила, когда ждала маленького.

Продать мамины платья? Только не это! Даже лучше украсть.

Сереза припоминает: плосколицая злая буфетчица кладет деньги в ящичек, вделанный в прилавок.

Эти деньги, эта кипа мелькает снова и снова.

«Сколько там? — думает он. — Рублей пятьсот. А то и тысяча!»

Он отталкивает наваждение, перебирает плечики в шкафу, сдергивает с них свое: недорогой костюмчик, купленный еще мамой, демисезонное пальто, рубашки. Это, конечно, негусто, думает он, связывая вещи в узел, но все-таки. Может, рублей сто?

В комиссионном магазине уже висит табличка «закрыто», но Сереза подныривает под нее, видит покрашенную тетку.

— Неграмотный? — кричит она. — Уже восемь!

— Тетенька, — умоляюще просит Сереза, — примите вещи, мне деньги очень нужны.

— Всем нужны! — успокаивается тетка. — Но приемщица уже ушла, это раз. А главное — от детей мы не принимаем.

— Я не ребенок! — говорит Сереза.

— Паспорт есть? — обрезает его тетка. — Ну видишь, значит, ребенок.

Он выныривает из-под таблички на улицу, бежит домой. Пора! Скоро кончится детектив!

Бабушки все нет. Сереза бро-

сает узел на стол. Кидается к двери. И вдруг останавливается.

Он шагает к шкафу, отыскивает на полке свои перчатки, сует их в карман.

Сердце бьется, словно молот.

Он бежит на студию, спокойный и уверенный. Он знает, что надо сделать. Андрон говорил — не совсем аморальное. Он ошибался. Чтобы размотать этот клубок, нужно время. А времени нет. Значит, надо взять топор и узел разрубить. Выходит, надо сделать совсем аморальное. Украсть.

В студии вспыхивают лампы... Тетя Нина усаживается за столик... Операторы двигают камеры...

Сереза сидит в углу и ничего не видит. Его лихорадит предстоящее.

Украсть! Решено!

В конце концов, буфетчица не пострадает. Ведь это будет кража. Ее не заставят вносить украденные деньги. Потом, когда он заработает эти проклятые триста, он ей вышлет. Так же, как украдет, — без слов. Уедет на окраину, в почтовое отделение, где его никто не знает, и отправит перевод без обратного адреса. Впрочем, адрес можно выдумать. И наконец, если там не триста, а больше, он остальное не возьмет. Оставит.

Операторы снимают наушники, в студии гаснет свет. Сереза прячется в декорационном складе, который рядом со студией и никогда не запирается. Все торопятся домой. Шаги стихают.

Сереза берет одну из шпаг, которыми сражались толстые мушкетеры, пересекает темную студию, поднимается к буфету, тихо, как кошка, перепрыгивает через прилавок.

Вот он, этот ящик. Внутренний замок. Сереза достает из кармана перчатки, натягивает их, просовы-

вает шпагу в щель, наваливается всем телом.

Острые шпаги с грохотом отламываются.

Сережу прошибает ледящий озноб. Он падает, вжимаясь от страха в пол. У вахтера внизу играет радио. Сережа поднимается. Снова просовывает в щель шпагу. Опять наваливается всем телом. Сжимаясь, дерево под металлом издает странный, шипящий звук.

Он отдыхает. Просовывает шпагу подальше. Щель между ящиком и прилавком становится шире, шире. Он наваливается снова. Квадратик металлического запора свободен. Планка с отверстием, врезанная в прилавок, больше не держит его.

Удерживая шпагой прилавок, другой рукой он выдвигает ящик. Сердце останавливается.

Ящик пуст...

Нет, деньги там есть. Но не те, что он видел днем. Здесь нет кучи, а тонкая пачечка рублевков и мелочь. Мелочи много — ею усыпано все дно, тут встречаются и металлические рубли, но той, той пачки нет.

Раздумывать нельзя.

Сережа хватает деньги, сыплет в карман мелочь. Потом задвигает ящик обратно, достает сломанную шпагу. Прилавок опять накрывает запор. Следы от шпаги видны ясно, но замок закрыт.

Сережа нагибается, подхватывает обломок шпаги, на цыпочках идет вниз, пробирается в студию, затем в декоративный склад. Забрасывает шпагу за теснину фанерных щитов. Обломок кладет в карман.

Потом идет к выходу.

На вахте сидит тетя Дуся. Дежурит она по очереди — то на радио, то здесь. Вахтерша разглядывает его приветливо.

— Задержался? — спрашивает она.

— Сегодня две лампы лопнули,



говорит он.— Такой грохот! Меньял...

5

Сереза переставляет ватные ноги, в голове ухаает колокол. Он чувствует себя голым на каком-то церковном шествии. Вокруг много-много людей, но он их не видит. Он только знает, что они разглядывают его и в такт шагам колотят в колокол.

Он приходит в парк возле студии. Бессознательно находит кусты, за которыми пил вино с Андроном. Ложится в траву.

Он лежит ничком. Сухие былинки колют щеки и лоб. Мимо, за кустами, проходят люди. О чем-то говорят. Смеются. Сереза слышит обрывки фраз, и ему кажется, что все рассказывают о нем.

— Я ему говорю, ну идишь?.. Подожди, отвечает, надо сообразить... — смеется женский голос.

— Ну смотри, ну смотри, если так дело пойдет... — резко говорит мужчина.

— Ты мне лучше ответь, кто виноват?.. — скрипит старуха.

— Бежим скорее, а то догонят... — шепчет мальчишка.

Сереза поворачивается на спину, в кармане перекатывается мелочь. Он вскакивает. Расстилает платок. Достает деньги. Считает их.

Руки трясутся. Он то и дело поглядывает на кусты и от этого сбивается. Снова считает.

Заканчивает в полном изнеможении. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек.

Он заворачивает деньги в платок. Получается небольшой узелок. Кладет его рядом. Опять лежит. Вечерний воздух холодит грудь, земля — спину.

Глаза у него открыты, но он как бы в забытьи. То слышит и ощущает окружающее. То оказывается впотьмах.

Потом его встряхивает кто-то.

Сереза садится, озирается, но никого нет.

— Украл! — шепчет он. И повторяет с ужасом: — Украл!

То, что встряхнуло его, наполняет тело холодом, обрывает сердце, швыряет вниз, в бездонную глубину. Сереза вскакивает и бежит.

— Украл! — повторяет он. — Украл, украл, украл! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Может, если бы он украл триста, пятьсот, тысячу — сколько там было вначале, — его бы теперь сотрясало от страха, от ужаса. К страху он готовился. Он знал, на что идет. Но он украл не триста, не пятьсот, не тысячу. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Мелочью! И в этих ничтожных рублях, да еще железом, заключается большее, чем страх. Низость! Мерзость! Подлость!

Его сотрясало от унижения. Он хотел украсть по нужде и собирался отдать эти занятые таким способом деньги. Деньги были ему нужны — и хотя это, конечно, преступление, но преступление объяснимое, вынужденное.

А как он объяснит эти двадцать девять рублей шестьдесят копеек? Даже себе — как?

Сереза то бежит по улице, то вдруг останавливается, прижимается к столбу, то идет скорым шагом — куда, зачем, к кому?

Вор! Хорош вор! Мелкий паскудник! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Малость суммы подчеркивала низость поступка, поступок от этой малости лучше не становился. Он украл! Он вор! Только в кино гангстеры хладнокровны и великолепы, в самом же деле это мерзко, гадко, дерьмово... Зачем он все это сделал?

Он вспоминает зачем. Вернуть три сотни Никодиму с мамашей. Чужие должны быть чужими. И на-

всегда забыть об этих родственниках. Забыть о прошлом. Но что же вышло.

Сереза больше не думает о сумме. Двадцать девять, триста, тысяча — не все ли равно. Он украл. Замарался. Он стал лягушей, как объяснял Андрон, но вот в чем дело — вокруг люди, и для них лягуша — это лягуша. Гадкая, скользкая тварь, и смотрят они на нее не как лягуши, а как люди.

Аморально — не совсем аморально.

Сереза думает о маме. Боже! Ведь он это делал, помня о ней. Как бы мстя за нее.

Мама бы швырнула три сотни Литературе, сомнения нет. Но она не стала бы красть для этого. Нашла другой способ достать их.

Взрослым легче, оправдывается перед собой Сереза, им проще найти триста рублей. А кто даст пацану деньги? Добрый Понтин генерал? И то на две недели, не больше, деньги не трава, на лугу не растут, они ведь всем, даже генералам нужны.

«Оправдываешься! — презирает себя Сереза. — Но разве можно оправдаться?»

Пусть посадят в тюрьму — и дело с концом. Но мама! Все знали тут маму. Сереза сам по себе никто — к нему еще никак не относятся: хорошо относятся к маме, к ее памяти, и он, Сереза, для людей не мальчик, а мамина тень, которую уважают.

Сереза поворачивается, бежит к студии. От стучится в дверь, из-за нее выглядывает незнакомый старик. Ночной сторож. Тетя Дуся ушла!

Все кончено, думает он, теперь уже ничего не поправишь, деньги на место не вернутся.

Что делать? Что делать!

Он лихорадочно ходит по улицам. Потом бежит к Гале.

Поздно. Она спит. Сереза вызы-

вает ее во двор. Открывает рот, чтобы сказать, — и не может. Он молчит, глядит удивленно на Галю, словно не в силах понять, зачем она тут.

Нет, он не может ей признаться. Галя поймет, это ясно, ни словом не упрекнет его, но он не может. Стыдно! Стыдно!

Он смотрит на Галю, поворачивается, бежит, не видя ее удивленного взгляда.

К Олегу Андреевичу, думает он, скорее, скорее! Ведь он угрозыск, самый главный начальник в городе по ловле преступников. Вот он к нему и придет. Признается. Ведь можно же, можно что-то исправить.

Сереза бежит к тете Нине и опять останавливается.

К тете Нине нельзя. Нельзя к Олегу Андреевичу именно потому, что там тетя Нина. Ведь она привела его на работу. Она просила принять, хотя он несовершеннолетний, и добилась своего. Она говорила с ним каждый вечер, когда их дежурства совпадали, и даже пела, как мама: «Гори, гори, моя звезда!»

Что скажет он тете Нине? Вот я украл? Признаюсь? Ведь на тетю Нину и так будут все пальцем показывать. Она, мол, его опекала. Худо опекала, значит, раз ограбил буфет.

Ограбил!

Какое слово!

Сереза стоит как вкопанный. Потом бежит опять. К реке. К мосту.

Вот здесь, кажется, глубокое место.

Сереза смотрит вниз, в смолистую черноту. Потом достает узелок с деньгами.

Двадцать девять рублей шестьдесят копеек — немного бумажек, остальные железом — булькают в темноте. Камнем идут на дно.

Он вытирает руки о штаны.

Словно бросил какую-то грязь...



Он чувствует себя выжатым, изнуренным. Но облегчения нет, напротив. Ему кажется, что сделал еще одну подлость: избавился от доказательства, струсил совсем.

Сереза идет, пошатываясь, голова словно распухла, а в вены, у висков, забиты тугие пробки: кровь в них остановилась. Еще немного, и голова лопнет, как пузырь. Пусть лопнет, думает он. Теперь все равно. Хорошо бы умереть. Вернуться на мост, к тому самому месту, откуда бросил он платок с деньгами, кинуться вниз, в смоляную черноту... Пусть думают, что хотят...

Он поворачивается, пересекает дорогу, чтобы вернуться к мосту... В мозг острым скальпелем врзается странный визг, что-то с силой толкает его в бок, он падает, переворачивается на земле, ощущает боль в ноге...

Сереза отплевывается, на зубах скрипит пыль, он чувствует приторный вкус крови, но это не пугает его. Как во сне он поднимается на ноги, равнодушно разглядывает рваные брюки... К нему бежит человек — большая, темная тень. Наверное, надо удирать, но Сереза стоит. Ему все равно.

Запыхавшийся человек хватается его за плечо, молча оглядывает. Сереза видит — это летчик, «аэрофлот». Форменная фуражка, голубая рубаха с крылышками на груди.

— Разбился? — испуганно спрашивает летчик. Голос у него трубный, низкий. Наверное, таким голосом можно свободно с самолета на землю кричать. Услышат.

Сереза молчит.

— Что же ты так, а, милый! — громыхает авиатор. — Ведь я же тебя растоптать мог — крутой поворот, красный свет для пешеходов, и вдруг ты под колеса.

Он радуется, что Сереза жив, тащит его к машине, впихивает в вишневого цвета «Жигули». Рвет с места.

— Сейчас, сейчас! — говорит он. — Ранки промоем, брюки зашьем, все в ажуре будет. Не плачь!

Но Серезу колотит. Ему не хватает воздуха, грудь разрывается, плечи трясутся.

— Потерпи, милый! — умоляет летчик и спрашивает: — Очень больно?

— Нет! — отвечает Сереза.

— Что же так плачешь? — спрашивает он озадаченно.

— Мама! — вырывается из Серезы крик. — Мама умерла! Понимаете?

Летчик молчит, «Жигули» летят по пыльному асфальту, а Сереза плачет навзрыд, плачет тяжело, без слез. Все, все, все, что было... Никодим, размен, эти три сотни. Литература, кража — все, что было, все, что видел он и от чего страдал, это же не отдельные происшествия. Не случайные факты! Всеу этому есть общее имя. Вот оно: мамина смерть.

Смерть! Мамина!.. Мама умерла — вот что произошло. И только поэтому случается все остальное!

Машина тормозит, летчик ведет Серезу по ступеням какого-то дома, нервно звонит, им открывает женщина в стеганом халате, охает, провозжает в кухню, тащит таз с теплой водой, промывает Серезе ранку на колене, смазывает йодом...

Ранку нестерпимо щиплет, это приводит Серезу в себя. Он больше не плачет. Его не колотит. Опять наваливается равнодушие.

Летчик приклеивает к коленике большой лист пластыря, объясняя, что пластырь не простой, а особенный, бактерицидный, он уничтожит всех микробов в ранке, не даст ей загноиваться. Серезе безразлич-

но — даст или не даст. Он идет, прихрамывая, умываться, послушно снимает штаны. Пока жена летчика зашивает их в комнате, Сережа разглядывает огромного мужчину, занимающего почти всю кухню. У него толстый нос, большие толстые губы, брови растут кустами. Боже мой, поражается Сережа, да ведь это тот Герой — тогда давным-давно он вручал ему грамоты и кубок и часы. Доронин!

— Ну что же, — говорит летчик, — раз так — давай знакомиться. Меня зовут Юрий Петрович.

— А я вас знаю, — говорит Сережа. — Вы Герой. Вы мне давали награды во Дворце пионеров.

— Я тоже тебя помню, — отвечает Доронин. — Ты хотел стать летчиком. — Он хмурится. — А мама правда умерла?

— Правдивее правды нет, — отвечает Сережа. — Это она все хотела, чтоб я летчиком стал, говорила, отец мой — летчик, а он, оказывается, никакой не летчик... Я пойду, — говорит, волнуясь, Сережа. Мысль о краже подавляет его — он больше ни о чем не может думать.

— Без штанов? — удивляется Доронин. — Сядь. Это быстро.

Властный, рокошущий голос оставливает Сережу.

— Вы на кукурузнике летаете? — спрашивает он, лишь бы спросить.

— На АН-2, — отвечает Доронин.

— Раньше немцев сбивали, а теперь на кукурузнике летаете, — говорит с упреком Сережа.

Летчик опускает голову, теревит толстый нос, потом неожиданно говорит:

— Значит, мама хотела, чтобы ты стал летчиком?..

— Все равно, кем быть, — отвечает Сережа, — чем меньше горка, тем легче с нее падать. И вообще, — он

вспоминает Андрона, — все эти мечтания, кому они нужны?

— В каком классе? — строго прерывает его Доронин.

— Работаю, — отвечает Сережа. Уточняет: — Осветителем на телевидении.

— Вот так работа! — удивляется летчик. — Лампочки включать да выключать!

Летчик исподлобья разглядывает Сережу.

Женщина в стеганом халате приносит зашитые Сережины брюки, он одевается, идет с летчиком вниз, опять садится в «Жигули», слушает вкрадчивый рокот мотора, показывает дорогу.

— Вот что, парень, — говорит вдруг Доронин. — А кто в тебя все это напихал?

— Разве не правда? — усмехается Сережа.

— Ересь! — громогласно рыкает летчик. — Слышал такое слово? Ересь это все! С такой философией в гроб ложиться да помирать!

— Я бы хотел, — задумчиво говорит Сережа.

— Между прочим, — зло говорит Доронин, — у меня тоже нет ни отца, ни матери. Даже бабушки нет, я детдомовец. А так, как ты, никогда не был, не распускался.

— Вам легче, — говорит Сережа, — вы Герой.

Летчик молчит, опустив голову.

— А летать бы хотел? — неожиданно спрашивает он.

— Нет, — усмехается Сережа. — И вообще! Надоела мне вся эта болтовня. Прощайте!

Он выскакивает из машины, бежит к дому.

— Какая квартира? — кричит ему вслед Доронин.

— Ну четвертая, — врет Сережа. — А вам зачем?

— Будь здоров! — кричит лет-

чик и срывает с места свой автомобиль, будто хочет взлететь.

Сережа идет домой, молча ест ужин. Бабушка что-то шьет, не глядит на него. Потом он умывается, ложится спать, закрывает глаза.

И вскакивает.

Как же? Он забыл? А кража! Ведь надо что-то делать. Что-то соображать. До утра осталось немного — плосколицая буфетчица придет на работу, увидит следы от шпаги, не найдет денег, и... начнется!

Бабушка поглядывает на Сережу поверх очков, смешно опуская нос.

— Что? — говорит она. — Забыл чего? Или примлилось?

— Примлилось, бабушка! — говорит он. — Такое примлилось, и не выговоришь.

Он глядит на нее, разглядывает свою добрую бабушку, не думающую, не ведающую ни о чем, смотрит на мамину маму и думает, что, кроме нее, признаться ему некому.

Некому, да что там говорить... Он глядит на бабушку глазами, полными слез, и произносит:

— Бабушка! Я деньги украл!

Она хихикает, покачивает головой, не отрываясь от шитья, потом испуганно вздергивает очки.

7

Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей рассказывать все по порядку, шаг за шагом. Каждую мелочь.

Как велела Литература разыскать помазок, майку и хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу, бегал к генералу и в комиссионку. Как сунул в карман перчатки и шпагой открывал ящик...

Бабушка наконец верит. Закрывает руками уши, кричит:

— Молчи! Молчи!

Сережа молчит.

— Надо вернуть! — говорит ба-

бушка, бросается к шкафу, достает вчерашнюю Сережину зарплату.

— Где она живет, эта буфетчица? Пойду, брякнусь в ноги! Подол стану целовать! Неужели не простит! — Обессиленно опускает руки. Спрашивает сама себя: — А ежели не простит? Под суд? — Она мотает головой. — Нет! Не отдам тебя! Аню отдала, тебя не отдам! Сама виновата, дура жадная, погналась за деньгами — трудно жить, трудно жить. Прожили бы, зато в отдельной квартирке. — Бабушка плачет, качает головой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, чтобы бежать к нему, к тете Нине за защитой и помощью, но сама себя судит: — Нельзя их сюда впутывать, не по-христиански, сколько они и так для нас сделали.

Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся.

— Может, не найдут еще? — спрашивает она у Сережи с надеждой, будто он ответ какой дать может. — Ты ведь в перчатках, как по кино, следов не осталось.

Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела его вахтерша, тетя Дуся эта. Он последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли.

— Не выйдет ничего! — вздыхает Сережа, говорит про вахтершу.

— Бежать! — всплескивает руками бабушка. — Уехать тебе надо. Немедленно! Завтра.

Сережа разглядывает бабушку как ненормальную: бежать, эх брякнула! Он не Дубровский — по лесам скрываться. Но потом кивает. Не так уж она стара и несообразительна. Варит, да еще как.

— Двадцать девять шестьдесят! — ершится она. — Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать! Ничего! Не разорятся! Не

такие деньги, чтоб долго искаться, не найдут и успокоятся, замки покрепче навесят.

Говоря это, бабушка то смеется, то плачет.

— В случае чего, все на себя приму, только ты уезжай, слышишь! — плачет она. — Пусть меня садят, если им приспичит, за тридцатку!

Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жалко Сережу, бестолкового сироту, она заливается, и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые кошечки, словно не старуха, а старая девчонка, в чем-то провинилась и горько плачет.

Они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика — обо всех мелочах. И Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понте и в комиссионку. Что бабушка и он — главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, чтобы ни случилось.

— Значит, так, — повторяет бабушка еще раз, чтобы и самой не забыть, и Сереже напомнить. — Первое дело — Дуся, платок она мне вязала при Ане еще, радио охраняла — я-то ее помню, вот она бы помнила... Это главное, — говорит она. — Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка записывай адрес.

Сережа послушно пишет, бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, прищипливает его булавкой, наставляет Сереже, чтоб берегся жуликов — он невесело ухмыляется.

— Чего мне бояться, я сам жулик!

Бабушка опять плачет, в который уж раз за эту длинную ночь. Сережа

угрюмо молчит: и страх и волнение как бы выболели в нем.

Утро вползает серое, пасмурное.

Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление. Кладет его в карман. Все решено, приготовлено, теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит.

— Бабушка, — вдруг спрашивает Сережа, — вот тогда, давно, при маме, ты почему-то не любила меня... И всегда ворчала на маму.

Бабушка глядит в окно, глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцветшими.

— Все мне казалось плохо, все не так, — отвечает она тихо, — ты вроде как безотцовщина при живом-то отце, а Аня... мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живет и нет. — Бабушка поворачивается к Сереже. — Нам, старым, — говорит она, — все кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребенка отец должен иметься, у жены — муж... — Она молчит, перебирая поясочки. — Да вишь как выходит...

Сережа смотрит за окно, на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно, про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость... Кажется, такая поговорка есть: где найдешь, там и потеряешь...

В девятом часу они выходят из дому и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза.

— Что случилось, — спрашивает она, — ты вчера какой-то странный был... Не в себе!

— В себе, — вздрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гале?.. Бабушка глядит на Сережу пристально, ждет, видно: хватит ли у него силенок на уговор? Хватит, бабушка, не бойся! — Да вот, — ве-

село продолжает он,— сегодня уезжаю в другой город, поступлю в ремеслуху, очень хорошее училище, готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан троюродный.

— Хочешь уехать? — растерянно говорит Галя.— Не сказав? Вдруг? Сережа прячет глаза. Ну что ей ответить?

— Ты заглядывай,— приглашает Галя бабушка, отесняя Сережу,— заходи, не стесняйся. Письма от Сережи будем читать. Чай пить.

— Зайду! — вежливо говорит Галя, а сама ошалело смотрит им вслед.

Бабушка держит Сережу за руку, словно маленького, крепко вцепилась. Потом отпускает. Охает.

— Ну, началось!

Началось!

В отделе кадров бабушка говорит за Сережу, не дает ему рта раскрыть — чтобы не врал.

— Я сама говорить буду,— приказывала бабушка по дороге.— Мне, старой, греха не страшно. Ты только головой кивай да молчи.

Сережа кивает головой, ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идет бабушка.

Тетю Нину! Только бы не встретить тетю Нину, думает Сережа и трусливо оглядывается.

Подписей требуется немного, все удивляются, что Сережа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкины объяснения, кивают головой, соглашаются: да, учиться надо, по крайней мере, осветитель не профессия, действительно, а Сережа еще молодой, только начинает.

Ему жмут руку. Желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо, хоть отдел кадров в комитете один, для радио и для телевидения, и не надо идти на студию, где можно встретить Ан-

дрона, режиссеров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Сережу и неплохо к нему относятся.

Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом...

8

Сережа стоит у окна, в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками рюкзаки. Но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую ко рту ладонь.

Они глядят неотрывно друг на друга, потом окно движется в сторону — поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном, а когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издали Сережу.

Серый вокзал, станционные склады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад, зато все, что вдаль — старое кладбище, заросшее березами, дымящие трубы ТЭЦ, коробки новых домов, — стремительно торопится вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку, только записаны на ней не звуки, а жизнь...

Электровоз тянет вагоны сильно и ровно. Сережа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает.

Странное дело — он видит не сон. События минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия, а только повторяет, повторяет события с неумолимой, беспощадной точностью.

Вот ему выдают свидетельство об окончании семи классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая — молодец какая! — вяжет шерстяные вещи, ненароком как бы

выведывает, где живет вязальщица, и они идут, почти бегут к дому вахтерши тети Дуси — ведь она может уйти, времени — одиннадцатый час, надо торопиться!

Тетя Дуся дома, моет пол, задрав подол, смущается, увидев чужих людей, долго не может разобрать, кто они, наконец узнает Сережу, здоровается с бабушкой, уверяя, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно — не помнит.

— Дусенька, — плачет бабушка, — ты Анечку мою знала?

— Знала, как же, очень хорошо, — кивает растерявшаяся, ничего не понимающая тетя Дуся, — и на похоронах была. — Она сморкается.

Бабушка падает на колени — подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом капают по щекам.

— Дуся! — говорит она. — Христом-богом молю! Обещай, что сможешь, что не скажешь! Не для себя прошу! Ради Ани сделай! Ради ее памяти!

Бабушка горько плачет, вахтерша поднимает ее с колен, но не может — бабушка толстая и тяжелая, и тогда тетя Дуся сама начинает плакать.

— Чувствую, что беда какая, — говорит она. — А разве же можно в беде не помогать?

Бабушка поднимается, говорит Дусе про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса, а Сережа сидит на стуле совсем вытряхнутый — ему и не стыдно даже.

Бабушка рассказывает про Никодима и Литературу, про размен, про эти злополучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет.

— Это надо же, — говорит она, — какие люди, какие люди!

— Еще не все, — горестно взды-

хает бабушка. — Теперь самое главное.

Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берется руками за виски.

— Милый ты мой, — говорит она Сереже, — и что ж ты удумал! Да разве можно, такой грех! Сказал бы, кому можешь. По десятке да двадцатке наскоблили бы эти сотни. Народ же вокруг...

— Дело сделано, — задумчиво произносит бабушка и просит: — Дуся, матушка, век не забуду — прими грех. Скажи, что ушел он со всеми...

— Приму, — успокаивает ее вахтерша, — что я, не баба, жалости у меня нет? Не томись, бабушка, вот тебе крест. — Тетя Дуся истово крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет: — Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли — и никто не видит, интеллигенция кругом!

Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно, и бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд.

— Верно это, — подумав, соглашается тетя Дуся. И спрашивает бабушку: — Чему он тут научится, при лампочках-то?..

Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают. Сережа открывает глаза. За окнами — гроза. Небо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. Дождь порывами плещет в стекло...

Сережа озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает.

И вдруг...

Вдруг все молнии из всех туч сразу, в одно мгновение, падают вниз. Окно озаряется слепящим синим све-

том, потом гаснет и вспыхивает вновь. Сережа сжимается. Ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация, он слышит голос мамы:

Теперь осторожно мы мнем и мнем  
Зерна за рядом ряд...

Радио! Да это радио, спохватывается он. Тот самый черный рычажок. И мамин голос. Сережа захлебывается от спазм — он и плачет, и смеется сразу. Стихотворение про гранат. Тогда! Котыка утащил его в туалет, и он не дослушал. Это мама! Ну конечно! Радио! Запись на пленку.

Сережа стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе ее скрыто волнение, и тайная радость, и сила, и счастье.

Струи толкутся под кожей,  
Ходят, переливаются.  
Стал упругим,  
Стал мягким жесткий гранат.  
Все тише, все чутче ладони рук:  
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг —  
Это с гранатом случается.

Сережа почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи, в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в такт маминим словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыханье, каждый звук этого голоса.

Терпенье и нежность — прежде всего!  
Верхние зерна — что?!  
Надо зерна  
Суметь  
Достать в глубине,  
В середине размять их здорово...  
И прокусить кожуру,  
И ртом  
Глотками сосущими пить потом,  
В небо подняв драгоценный плод  
И  
Запрокинув голову!

Голос умолкает так же неожиданно, как возник, и это потрясает Сережу не меньше. Он лихорадочно крутит рычажок динамика. Но там

слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последние известия.

Сережа обессиленно откидывается назад. Слезы стоят в глазах. Он вздрагивает всем телом.

Сережа озирается. А может, ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал... Никому нет дела до каких-то стихов... Хотя нет. Вон седая женщина внимательно смотрит на Сережу. Он улыбается ей.

— Это моя мама читала! Вы слышали?

Женщина улыбается, кивает головой.

— Артистка? — спрашивает она.

— Лучше! — отвечает Сережа. — Диктор.

Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезаются в землю. И вдруг замирает.

Но разве же можно, думает он, пить сок из граната, и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл? Что обманул убежав?

Он вопросительно смотрит на динамика. Но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку урожая.

Мама! Она бы сказала.

Сережа опять вспоминает тот день.

Они сидят на матрасах в новой квартире, пьют вино, и мама смеется все время. А перед этим плачет. «Неужели, — говорит она, — это все мое? И ты, и ты, и этот дом?» Она не верит! Она удивляется! Она счастлива, как никогда в жизни!

Сережа много думал об этом счастье. О том, какое оно в самом деле. Про счастье удачливой и красивой тети Нины. Про мамино счастье, такое горькое. Он тогда размышлял еще: счастье — это человек. Какой человек, такая и жизнь у него. Если он такой — то счастливый, а если другой — то несчастный. Все в нем самом! И мама это ему доказала. Всем сумела доказать, что это так действительно.

Что несчастливый человек тот, кто не стремится к счастью. А счастливый тот, кто хочет его.

Значит, мое несчастье — это я, думает он напряженно.

## 9

Поезд приходит рано утром.

Незнакомый большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя. Потом оглушает. Грохотом трамваев. Большой цветастой толпой. Глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте. Дружно взлетающими стаями голубей.

Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и, пока тот объясняет, как добраться, с любопытством, будто впервые, разглядывает форменную фуражку, синий мундир, золотистые пуговицы.

Вот человек, который собою означает справедливость. Даже тут, в другом, большом городе, можно сказать ему сейчас — я такой-то, ограбил буфет за много километров отсюда, — и он изменится в лице и ответит куда следует, потому что справедливость — везде справедливость, в любом городе она одинакова.

Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это — бабушкина наивная выдумка. Может, она и права, история эта заглохнет, забудется, про него, живущего в другом городе, не вспомнят — и все будет хорошо, о'кей!

Хорошо? И он забудет? И никогда в жизни не вспомнит?..

Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами, ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков, потом опять едет по новой улице.

Сережино училище как раз напротив остановки, но он туда не идет, а выпрашивает про общежитие. У Кольки при его появлении

глаза лезут на лоб, потом он бешено рогочет, узнает, что Сережа приехал к нему — и жить, и учиться, тащит его к директору, но Сережа упирается.

— Погоди, — говорит он, — сперва расскажи про свою «ремеслуху».

— Никакая это не «ремеслуха», — обижается Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство оттого, что живет он в большом городе, и гордость за училище. — ПТУ, — объясняет он. — Мы не «ремесленники», мы «пэтэушники». Гляди, у нас какие классы... А мастерские... А спортзал...

Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные, тычет пальцем в алые выпелы, висящие на стенах, в кубки, матово сверкающие в глубине застекленных шкафов.

— У нас знаешь! — торжествует Колька. — Как в суворовском училище! Дисциплина — раз! Самообслуживание — два! Три — самоуправление! А главное — кодекс чести, слышал? В какой школе есть? А у нас — кодекс! Если кто-нибудь что утащит — хоть ложку! — судим и выгоняем, понял?

— Как судим? — холодеет Сережа.

— А так! Общее собрание — это наш суд.

Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание, глупости все это, никуда не сбежишь!

Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! По-зор!»

Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Колькой к директору. Тот спросит: «Работал?» — «Работал!» — ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка — вот она. А характеристики нет.



Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что...

Бабушка говорила: молчи. Врать я сама буду, старая грешница. Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.

Врать. Надо врать.

А вообще-то в чем дело? Почему там, дома, врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она...

Сереза потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругая себя:

— Я, дурак, гляжу — ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?

Сереза вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменялся! Тогда — год с лишним уже! — был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Серезей, наверное, рисовался... А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться — тогда не получилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь...

— Здорово, — спрашивает Сереза, — влетело тебе за трактор?

— Еще как, — вздыхает Колька, — отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили...

— Как это вы про велики не забыли? — удивляется, задумчиво улыбаясь, Сереза и рассказывает про мамин голос в поезде.

— Мы твою маманю завсегда слушали, — говорит Колька. — По ее

голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, тетя Ань, ну давай, накинь по-родственному градусусов пять!

Сереза смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот... Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое... Благодарного обмана не бывает.

Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика — Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе.

Они тушат свет, но уснуть Сереза не может, возится на новом месте, скрипит пружинами.

— Ты не врешь? — спрашивает неожиданно Колька. — Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?

Сереза молчит.

— Хотел, да расхотел, — отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: — А ты про отца моего знал?

— Слыхал, — отвечает Колька, — он же разбился...

— Кто говорит? — напряженно спрашивает Сереза.

— Да все в деревне. И отец.

Сереза облегченно вздыхает. Он распутывает свои мысли, как узел.

Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него — про того, придуманного — хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек все-таки существует? И пусть Сереза уничтожил в себе эту легенду, рассыпал как песочный домик, — отец-летчик живет собственной жизнью в других людях, независимо от Серези... Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем

объяснять: это неправда, летчика-героя нет, а есть просто Авдеев...

Сереза вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он хрипнул о березу.

Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый?

Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась.

Сереза вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.

Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Сереза ее ввук.

Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.

Серезе душно, он сбрасывает сомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее.

Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным — летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускать-ся.

И действительно: разве можно?

Разве можно прятаться за плечи взрослых, наделав бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?

Сереза садится. За окном светает.

Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман

этот существовал всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.

Серезин обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать всю жизнь сплошным обманом.

Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.

Сереза встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.

Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги:

«Колька! Прощай! Я должен вернуться!»

10

Поезд тянется еле-еле. Стоит у каждого столба. И часы! Часы у всех остановились. Через каждые десять минут Сереза спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?

— Мальчик! — возмущаются пассажиры. — Ты уже надоел!

Надоел! Он и сам себе надоел.

Черный забор, грязно-коричневые крыши складов, серый вокзал раскручивается в обратную сторону, а дальние дымы ТЭЦ, коробки домов, старое кладбище едут вперед. Обратное крутится невероятная пластинка, на которой вместо музыки записана жизнь. Но пластинку назад крутить не заставишь. Жизнь — можно, если очень захотеть.

Если решиться.

Первым он выпрыгивает из вагона. Несется на привокзальную площадь, к троллейбусной остановке.

Он влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы. Он едет к Олегу Андреевичу. Пусть бабушка узнает потом. Пусть не волнуется понапрасну.

В милиции он находит нужную дверь, открывает ее. Олег Андреевич

поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит:

— Ну и шутница твоя бабушка. Говорит, уехал.

— Не шутница, — отвечает Сережа, — я уже приехал. — И добавляет: — Олег Андреевич, буфет я ограбил. — Сережа рассказывает подробно, как было дело, молчит только про Литературу — здесь, в милиции, это значения не имеет, и Олег Андреевич тускнеет, задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу.

— Тогда все понятно, — произносит он наконец, — и отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть?

Что скрывать — Сережа кивает.

— Дела, — задумчиво говорит Олег Андреевич и вдруг спрашивает: — Зачем же ты вернулся? Зачем рассказываешь мне? Ведь если бы ты не рассказал! У тебя полное алиби! Кража произошла вчера... Хотя, постой-ка... Вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?.. Ну дела! — поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит:

— Семенов! Срочно!

Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами, поглядывает подозрительно на Сережу, а Олег Андреевич ему объясняет:

— Вот грабитель явился. С повинной. Но он утверждает, что взял двадцать девять шестьдесят. А не шестьсот...

Сережа даже подпрыгивает:

— Какие шестьсот!

— Вот такие, — отвечает Олег Андреевич. — Буфетчица заявила, что ограбление было вчера и что взяли шестьсот.

Олег Андреевич и пожилой дядка окутываются черным дымом, Сережа чувствует, что он погиб, причем

погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал.

— Зачем тебе столько? — спрашивает пожилой милиционер. — Мотоцикл хотел купить?

— Что вы, издеваетесь?! — кричит Сережа. — Мне надо было триста. Чтобы отдать им, поняли! Чтоб не унижаться! Вместе с помазком! Со штанами!

Сережу колотит, ему не хватает воздуха! «Боже мой, — думает он, — зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было. Впрочем...» Он неожиданно сникает. Ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало. Он же все равно украл. Много или мало, какая разница!

— Ладно! — говорит он устало. — Пусть шестьсот!

— Ничего не понимаю, — пожимает плечами растрепанный толстяк. — То отрицается, то признается.

— Погоди, Семенов, — останавливает его Олег Андреевич и велит Сереже: — Ну-ка давай билеты.

Сережа послушно вынимает их.

— Так! — довольно говорит Олег Андреевич. — Пункт первый — не сходитя. Приехал сегодня, уехал не вчера, а позавчера.

— Билеты можно достать, — уныло говорит Семенов.

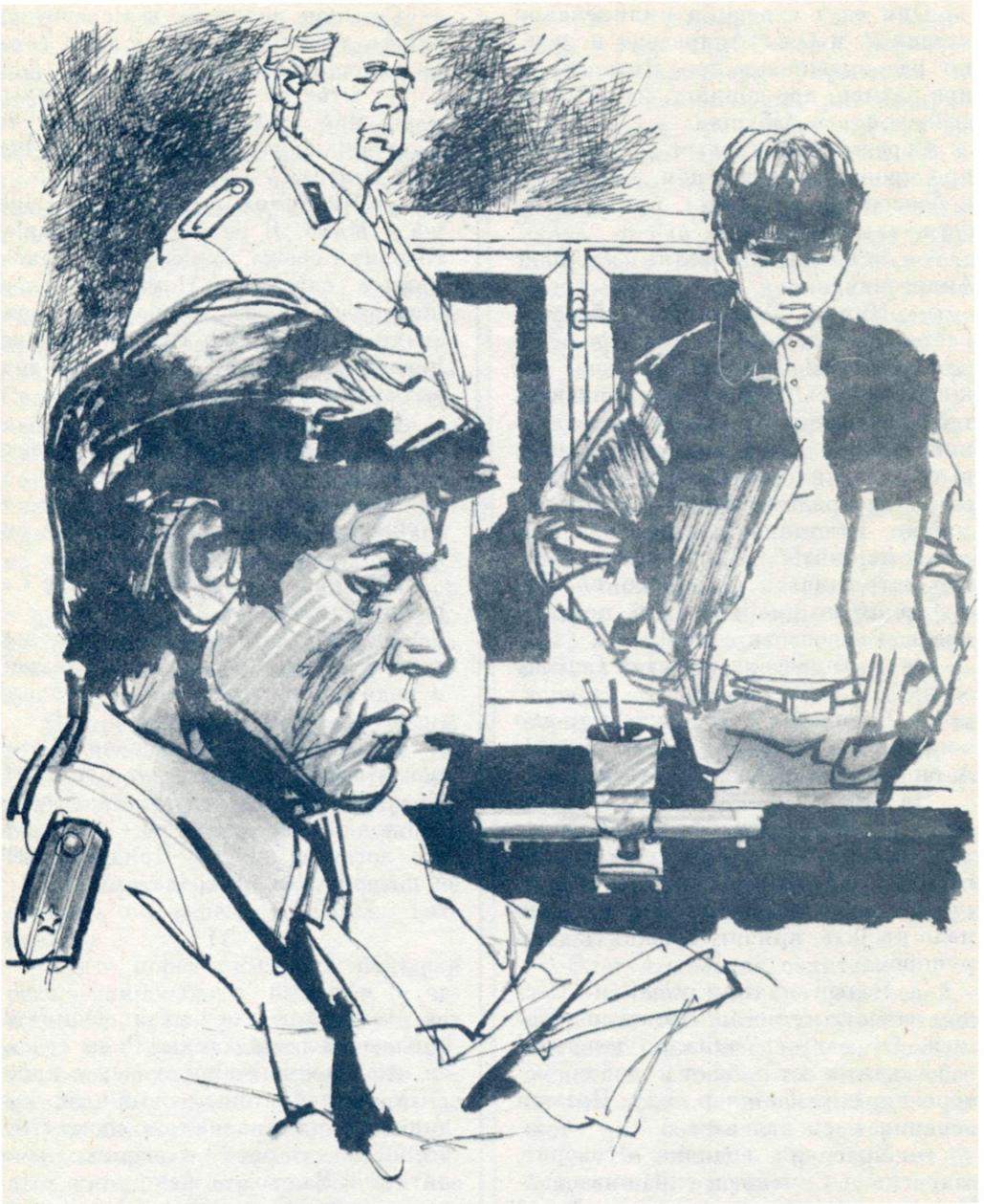
— Верно, — улыбается Олег Андреевич, — достать можно. Кто тебя видел там, в другом городе?

— Колька! — вяло отвечает Сережа.

— Вот это дело, — ухмыляется Семенов, — фамилия, имя, адрес?

Сережа понуро объясняет. Стыдища-то какая. Теперь Кольку станут таскать. Комендантшу в его общестии — у нее они спрашивались ночевать. Каких-то людей в чужом училище, которым Колька Сережу показывал, как брата представлял...

— Ну а деньги-то? — спрашивает



Олег Андреевич.— Те, что взял,— истратил?

Сережа мотает головой. Рассказывает про платок. Про мост. Снова клянет себя, зачем выбросил.

— Тебе везет,— говорит Семенов и предлагает Олегу Андреевичу:— Иду, ладно? Звоню в ОСВОД.— Потом поворачивается к Сереже:— Место покажешь?

Они едут втроем в милицейском «газике», и Олег Андреевич подробно расспрашивает про Литературу, про размен, про доплату, на которую соблазнилась бабушка.

Сережа рассказывает про то утро, про прощание с великом, про ласты и боксерские перчатки, про авоську с тяжелым арбузом...

— Успокойся! — велит ему Олег Андреевич.

— Ничего, парень! — оборачивается растрепанный толстяк. — Ты вот зря скис! Зря на такой шаг пошел, озлобься! Я понимаю, ненависть тебя захлестнула, но ты не маленький, должен знать: не все люди добрые. Да и не должны быть все! Добро только рядом со злом разглядеть можно. И отчаиваться нельзя. Тебе жить да жить... Привыкай к тому, что встретишься с дрянью не раз. От дряни не киснуть надо, не отчаиваться — воевать с ней!

Олег Андреевич треплет Сережу за шею, улыбается ему.

— Слышишь, — говорит он, — что следователь Семенов тебе говорит. А он на этом деле зубы съел.

На мосту они выходят, Сережа ведет к тому месту, где бросил платок. Внизу тарыхтит катер с аквалангистом.

Семенов указывает место, куда надо нырять, кричит, сложив ладони рупором:

— Белый платок, узелком. Песком занести не могло. Позавчера брошен. Отсюда — и вниз по течению!

Аквалангист кивает головой, осторожно спускается в воду. Пузыри вспениваются над ним.

— Холодная водичка, — говорит, вздрагивая, Семенов и спрашивает: — Что будем делать, если не найдут?

— Хитер же ты, бестия! — смеется Олег Андреевич. — Спрашиваешь, а сам лучше меня на сто ходов вперед все уже разложил, коли Сереже поверил. Ведь поверил?

Семенов подходит к Сереже поближе, заглядывает ему в лицо, говорит неожиданно:

— Ответь, пожалуйста, милый друг, мне на один вопрос. Как ты из училища уехал? Тебя кто надоумил или сам?

— Надоумил, — отвечает Сережа. — Мама. Я ее голос услышал! — говорит Сережа. Глаза у него наполняются слезами. — Помните, — спрашивает он Олега Андреевича, — она стихи читала? Про гранат? Они записаны на пленку. И пленку вдруг включили...

Они молчат.

— Эх, милый! — говорит Семенов негромко.

Вода вскипает от пузырьков, из глубины появляется аквалангист, его подхватывают с катера.

«Не нашел!» — обрывается у Сережи сердце.

Аквалангист снимает маску, достает изо рта дыхательный шланг и поднимает над головой маленький комочек.

— Один — ноль, — говорит Семенов и вновь разглядывает Сережу. — Крепись, милый, раз выбрал честность, — произносит он: — Не так это легко и просто. Придется тебе и потерпеть и пострадать...

11

И вот суд.

Маленькая нечистая комната. Унылые зеленые стены. Ряды стульев, сколоченных вместе, как в кино.

У задней стены — длинный, как для призидиума, стол, покрытый зеленой материей с чернильными пятнами. За столом женщина с усталым лицом и короткими волосами. Это судья. Еще две женщины рядом — заседатели. Четвертая, у краешка стола, приготовила бумаги: будет писать, секретарь.

Сережа сидит вместе со всеми.

Хотя он подсудимый, а для подсудимого есть особое место за деревянной огородкой, судья его туда не зовет.

Хриплым голосом она читает бумагу, где написано все, как было, потом просит Сережу встать, подойти поближе, спрашивает, верно ли она прочитала.

Сережа кивает.

— Сергей Воробьев, — говорит она заседателям, — сам сообщил о краже. Необходимо отметить, что благодаря заявлению буфетчицы Селезневой, сделанному ею в корыстных целях, на Воробьева вообще не падало подозрения. Однако он глубоко прочувствовал свой проступок и явился с повинной в органы милиции. Что же касается Селезневой, на нее заведено особое дело.

Женщины кивают, соглашаясь с судьей. Сереже разрешают сесть, он отворачивается от зеленого стола и видит сосредоточенные, напряженные лица.

Истрадавшуюся бабушку, Галю с округлившимися глазами. Тетю Нину, которая в волнении теревит платок. Олега Андреевича в строгом парадном мундире. Растрепанного Семенова...

Странно, в нем нет стыда. Не осталось ни капельки. Только волнение.

Будто перед ним река, большая река — широкая, с быстрым течением. Он вошел в эту реку, плывет через нее, и все знают, что ее проплывают только взрослые. Но он плывет, ему нужно ее переплыть. А эти люди стоят на берегу, мучаются, страдают, переживают. Каждый хотел бы ему помочь, но это запрещается правилами. Он плывет сам. И они могут только смотреть...

Сережа садится.

— Слово защитнику, — говорит судья.

— Защитником в этом деле, —

говорит, поднимаясь, Олег Андреевич, — стал сам Сережа Воробьев.

Олег Андреевич проходит на середину комнаты, смотрит на крайние стулья, где сидят Литература и Никодим. Пришли. Могли бы не приходить, но пришли, похлопали Сережу по плечу, сказали пустые слова, отсели в сторонку, чувствуя неприязнь остальных. Свидетели. Подтвердили, что доплатили триста рублей. Расписались под бумагами, а теперь вот сидят, наблюдают.

— Я не могу защищать Сережу, — говорит Олег Андреевич. — Он украл, сделал это преднамеренно, и, по собственному его признанию, только случайность спасла его от большего преступления: в кассе осталось двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Но остановимся на точной сумме, которая была ему нужна. Почему именно триста рублей? Почему остальные деньги, если в кассе будет больше, он хотел тотчас вернуть буфетчице, как собирался вернуть позже и нужные ему триста. Каков умысел и какова личность виновного, вот главные вопросы этого дела.

Олег Андреевич говорит сдержанно, кратко, строго. Он рассказывает про маму, про Сережу, про недолгое счастье, про размен и злополучную доплату...

Олег Андреевич садится.

— У мальчика нет родителей, — негромко говорит судья. — В таких случаях мы предлагаем помощь, выясняем, способен ли опекун обеспечить правильное воспитание и может ли обеспечить материально.

— Не отдам! — вдруг кричит бабушка. — Не отпущу!

Судья поднимает руку, успокаивая ее.

— Но я хорошо изучила дело, — продолжает она медленно, — хотя это противоречит моим обязанностям, предлагаю такой вопрос не

ставить.— Она молчит, чуть хмурясь.— Однако мой долг,— строго говорит судья,— заставляет сказать и несколько неприятных слов. Олег Андреевич защищал Сережу Воробьева. Разобрав это дело, я понимаю, что мальчик оказался во власти обстоятельств, подняться выше которых у него не было ни сил, ни житейского опыта. Но разве это прощает Сережу? Мои слова обращены к тебе, Сережа. Ты совершил преступление. Маленькое или большое, это не важно. И ты не совершил бы его, если бы верил друзьям. Друзья у тебя есть. Они сидят здесь...

Судья собирает бумаги и выходит, следом за ней идут заседатели и секретарь.

Тихо. Все молчат.

И вдруг открывается дверь. На пороге Андрон. Его глаза растерянно бегают, он кого-то ищет. Находит — идет к Сереже, съживившись, опустив плечи.

— Сергуня,— говорит он.— Ты вот деньги тогда искал. Трех-то у меня нету, возьми хоть полтора.

Он протягивает красные бумажки. Сережа улыбается ему одними глазами: эх, Андрон, путаный человек, спасибо тебе, а вслух говорит:

— Теперь уж не надо. Теперь я сам должен.

Краешком глаза Сережа видит, как крадется с крайних стульев Вероника Макаровна, как крадется на цыпочках к двери, хотя сейчас ведь перерыв и можно ходить смело. За ней выходит Никодим. Сережа смотрит им вслед с усмешкой, оба они кажутся ему какими-то неудачниками, что ли. Ему даже жалко их — учительницу, ковыляющую на тонких каблуках, и серого, невзрачного Никодима.

Судья и ее помощницы возвращаются.

Все встают.

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,— торжественно произносит судья,— суд приговорил Воробьева Сергея Петровича, одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года рождения, к одному году лишения свободы.

В Сереже словно лопается какая-то струна. Он даже слышит этот странный, звенящий звук...

— решил... на основании статьи... Уголовного кодекса наказание считать условным с испытательным сроком...

— Неправильно! — растерянно говорит Андрон.— Дайте лучше мне, старому дураку!

Сережа думает, судья сейчас возмутится, обругает Андрона, но она разводит руками.

Вот и все, думает Сережа, вот и все.

Кончился обман...

12

Обман кончился... Что теперь?

В тишине всхлипывает бабушка.

— Чего дальше-то! — говорит она.— Может, обратно в училище? Там все же Колька...

— Или в школу? — предлагает Галя.

Сережа сидит, повесив голову. Он чувствует, что-то произошло. И с ним, и с ними. Слово он после приговора судьи внезапно заразился проказой — есть такая неизлечимая болезнь. И его жалеют. Выдумывают срочно лекарства. А он-то, дурак, думал, все будет наоборот. Он сразу поправится. Вылечится от обмана. Засмеется освобожденно, вздохнет легко, побежит бездумно по улице, как когда-то, как прежде...

— Не знаю,— говорит Олег Андреевич и улыбается смущенно,— что и делать. То ли сочувствовать, то ли поздравлять.

Он смотрит на них. Странно все-

таки устроены люди. Вот только что друзья ему речку переплыть помогали. И знали, к чему он плывет. А когда доплыл — смущенно молчат. Видно, уж так всегда. Какая бы правда ни была, если за нее осудят, не обрадуешься.

Он поднимается.

— Раз меня осудили условно, это значит, поставили условия. Словно в задаче, — задумчиво размышляет Сережа, — даны условия, надо найти ответ. Вот я и не хочу, — он оглядывает всех внимательно, — не хочу, чтобы этот ответ нашли вы. Хочу сам.

Он медленно оборачивается, идет к выходу. Плотно притворяет за собой дверь. Выходит на улицу.

Воздух врывается в него, заполняет легкие, обдувает лицо.

Вместе с ветром летят капли мелкого дождя.

Сережа не отворачивается от него. Он закрывает глаза и чувствует, как постепенно лицо становится мокрым.

«Вот и все, — думает он. — Теперь надо жить дальше...» В сущности, от только повторяет то, что, всхлипывая, сказала бабушка, но тогда это говорила бабушка. Теперь думает он.

Он думает сам и не хочет, чтобы кто-нибудь думал за него.

Сережа глубоко вздыхает и чувствует на плече тяжелую руку.

13

Он открывает глаза.

Перед ним стоит летчик в синей болонье и форменной фуражке. Герой Доронин! Однофамилец артистки.

— Что же обманул? — спрашивает он строго. — Сказал, четвертая квартира...

Сережа опускает голову.

— Зачем вам? — говорит он.

— Ну ладно, — говорит летчик, трогая большой нос, — хватит хныкать! — В голосе его едва слышимая

ирония. — Своего добился, и правильно. Перестань оборачиваться. Смотри вперед. — Он хлопает Сережу по плечу, идет к машине, которая стоит в стороне.

И вдруг у Сережи начинает бешено колотиться сердце. Он срывается с места и бежит к «Жигулям».

Это как в школе. Отвечаешь урок, который отлично выучил, и сердце бьется от уверенности, от предчувствия. Вот закончишь сейчас, и тебе поставят пятерку. Уверен в этом. От этой уверенности все тело становится легким и солнечно на душе.

Сережа бежит к машине, распахивает дверцу и говорит:

— А вы? Зачем приезжали?

Ведь не может же Доронин просто так его искать.

Летчик улыбается. Толстое лицо его становится добрым от морщин, бегущих к вискам. Он теревит свой нос, растягивает толстые губы, включает двигатель.

Сердце колотится, а летчик молчит.

Но сейчас что-то скажет. Хорошее. Просто замечательное. То, что ждет Сережа.

Но резко сжимается сердце.

— Подождите, — говорит Сережа, меняясь в лице, — я вначале вам должен... Мне дали год условно!

— Не имеет значения, — отвечает летчик, разглядывая Сережу и по-прежнему улыбаясь. В глазах его бегают искорки.

Сейчас, сейчас... Сейчас он скажет...

Сейчас он скажет что-то такое, что изменит всю Сережину жизнь...

Всю жизнь!

Жизнь эта не будет без облаков, как не бывает без облаков небо.

Но — помните? — ведь это к облакам струятся от земли невидимые воздушные потоки.

Они поднимают в высоту модели, планеры и людей.



**Лиханов А. А.**

**Л65** Обман: Повесть. — М.: Современник. 1981.— 96 с.; портр., ил.— (Отрочество).

Повесть Альберта Лиханова «Обман» удостоена, среди других произведений писателя, премии Ленинского комсомола. Автор повествует о судьбе подростка, полной сложности, противоречивых поступков, поражений, а также важных нравственных побед, которые ведут к надежде...

**ББК 84 P7  
P2**

Л 70803—188 без объявл. 4803010102  
М106(03)—81

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОК»,  
ОФОРМЛЕНИЕ, 1981 г.

**Альберт Анатольевич Лиханов**  
**ОБМАН**

*Повесть*

Редакторы  
**Л. КУЛЕШОВА, О. ГОЛЕВА**

Художник  
**Г. НОВОЖИЛОВ**

Художественный редактор  
**В. ПОКУСАЕВ**

Технические редакторы  
**Л. КИСЕЛЕВА, Г. БОЙЦОВА**

Корректор  
**М. ШУНИНА**

ИБ № 2374. Сдано в набор 18.12.80. Подписано к печати 10.06.81. Формат 70×100/16 Гарнитура об. нов. Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 16,22. Уч.-изд. л. 7,93. Тираж 500 000 экз. Заказ 864. Цена 25 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

